



ТОТЫРБЕК
ДЖАТИЕВ

КЕМ ТЫ БУДЕШЬ,
ЛАППУ?



КОСТА
ХЕТАГУРОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ




Отсканировано
в сентябре 2015 года
специально для эл. библиотеки
паблика «Бæрзæфцæг»
(«Крестовый перевал»).


Скангонд æрцыд
2015 азы сентябры
сæрмагондæй паблик «Бæрзæфцæг»-ы
чиныгдонæн.

<http://vk.com/barzafcag>

19  80



Шопырбек
Жаппиев



КЕМ
ТЫ БУДЕШЬ,
ЛАШУ?

Повесть о Коста Хетагурове

МОСКВА

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1980



Коста
Хетагуров

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ

Перевод с осетинского

МОСКВА

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1980


С (Осет) 2
Д 40


Художник Евг. Коган

Д $\frac{70003-478}{M101(03)80}$ 407-80


© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г.


Шотырбек
Джатиел





КЕМ
ТЫ БУДЕШЬ,
ЛАППУ?





Повесть о Коста Хетагурове

ПЕРЕВЕЛ
С ОСЕТИНСКОГО
АВТОР

ЗАВЕЩАНИЕ

*Прости, если отзвук рыданья
Услышишь ты в песне моей:
Чье сердце не знает страданья,
Тот пусть и поет веселей.*

*Но если б народу родному
Мне долг оплатить удалось,
Тогда б я запел по-другому,
Запел бы без боли, без слез.*

КОСТА

Часть первая



Не бойся за сына,
Отец! Ты не прав.
Тебя без причины
Тревожит мой нрав!

КОСТА

1

В тот знойный июльский день 1881 года пассажирский поезд в полдень остановился на небольшой захолустной станции Невинномысская. Немногочисленные пассажиры быстро заняли места в темно-зеленых вагонах и, прильнув к окнам, переговаривались с провожавшими их дамами и мужчинами. Третий удар колокола, висевшего на наружной стене приземистого здания вокзала, возвестил об отправлении поезда. Резко и пронзительно загудел паровоз, клубы густого дыма взлетели в чистый прозрачный воздух, застучали колеса. Поезд медленно тронулся на Север. Дамы в длинных разноцветных платьях и причудливых шляпах с перьями, мужчины в черных «котелках» махали руками вслед поезду.

В стороне от провожавших стоял старый горец среднего роста, стройный, по-кавалерийски подтянутый, в белой черкеске и бордовом бешмете. Густая борода закрывала серебряные газыри, сверкавшие на худощавой груди. Высоко поднятой над головой папашой он махал юноше, высунувшему голову из вагона медленно отходящего поезда и отвечавшему ему взмахами гимназической фуражки.

Когда последний вагон скрылся за поворотом, старик медленно опустил папашу на голову, зажмурил глаза и закачался на месте. К нему вмиг подскочил молодой горец в поношенной черкеске и с кнутом на плече. Он привез старика с сыном на вокзал, к поезду.

— Держись, Леван, держись! — произнес он сочувственно.

— Погас мой свет: уехал мой бындар¹, — тяжело вздохнул старик, опираясь руками на сильные плечи молодого горца.

— Вернется Коста к тебе, отец, не горюй! — успокаивал его молодой односельчанин. — Не за морями Петербург!

— Питер шуток не любит, лаппу²: там даже царей убивают... И кто знает, что будет с моим сыном? Кому он там нужен? И какая дьявольская сила его туда понесла?! — не удержался отец, и из его воспаленных глаз брызнули слезы. Прозрачные капли катились по обветренным щекам.

Опомнившись и удивившись своей слабости, недопустимой в присутствии младшего, он вытер влажные глаза, поднял плечи и выпрямился, поправил кинжал и шашку в серебряной оправе, висевшие на тонком наборном поясе.

— Уехал мой бындар, далеко, далеко уехал... — снова простонал пожилой отец так, словно лишился единственного сына.

— Не убивайся, дорогой Леван, вернется, непременно вернется Коста в родительский дом! — продолжал успокаивать его молодой горец, пока они шли к стоявшей на привокзальной площади арбе, на которой приехали к поезду с верховьев реки Кубани, где расположилось селение Георгиевско-Осетинское.

— Может, и вернется, — безнадежно заметил отец. — Но застанет ли меня в живых? Вот о чем я горюю, лаппу.

— Не горевать, а радоваться надобно, дорогой наш Леван, что твоего сына послали учиться в Петербург. Счастье-то какое!

— Счастье, говоришь, лаппу? — отер Леван Елизбáрович вспотевший лоб и с иронией посмотрел на своего спутника. — Какое же это счастье?! Он у меня один-единственный... А я стар, мне перевалило за семьдесят, и тридцать из них прошагал под ружьем на царской службе, по ночам раны заснуть не дают... Кто знает, когда наступит день моего прощанья с белым светом, с сыном. А Петербург — далеко, считай, три тысячи верст до него от наших гор! Это тебе не во Владикавказ или в наш родной аул Нар съездить верхом на резвом коне, лаппу... Говорил я сыну: закончи гимназию и иди по стопам отца — отменный офицер из тебя получится... А нет, так иди в коммерческое училище, грамотным хозяином ста-

¹ Б ы н д а р (осет.) — последний.

² Л а п п у́ — мальчик, юноша.

нешь, жить будешь, горя не ведая... Вот, говорю, твой старший, двоюродный брат Андуканар делом занимается в Петербурге: выучится там на доктора и людей лечить будет. А мой? Сколько раз я его спрашивал: «Кем ты будешь, кем, лаппу?..» Эта, говорю, твоя императорская академия — сущее баловство... Не послушал он отца и вот уехал учиться на рисовальщика. Надо же!

Молодой неграмотный горец понятия не имел о том, что говорил ему старый Леван, и не мог ему возразить. Но он хорошо знал, что стать офицером — мечта каждого молодого горца. Вот почему он с глубоким вздохом проговорил:

— Будь я на месте Коста, конечно, пошел бы в офицеры.

Понуднее усевшись в арбе, они тронулись в обратный путь, и разговор продолжался.

— Вспомни, Леван, сколько лет ты, почетнейший в наших краях человек, хлопотал, чтобы определить Коста на учебу? — сказал молодой горец. — Сколько раз ты подавал о том прошения большим начальникам? А сейчас ты горюешь, что сын уехал учиться... Почему так?

— «Почетнейший»... «Прощения»... — пробурчал отставной подпоручик царской армии Леван Елизбарович Хетагуров, прошедший нелегкий путь, и задумался.

Леван был человеком добрейшей души и храбрым воином, служил отечеству верой и правдой, в военных походах и боях он не знал страха и усталости, жаждал подвигов и смело шел навстречу любой опасности, терпеть не мог в людях фальши и трусости, спеси и самохвальства. Служить в русской армии он пошел добровольно, и этой службе отдал более тридцати лет жизни. Когда уходил в армию, отец, старый Елизбар, напомнил ему о том, какими храбрыми и мужественными воинами были предки рода Хетагуровых, какие подвиги они совершали во многих сражениях. А потом Елизбар — хранитель фамильных реликвий воинской чести — извлек из тайника почерневшую от времени серебряную чашу, расписанную грузинскими буквами. Показав ее Левану, спросил: «Ты, лаппу, знаешь, что это за чаша и откуда она у нашего рода?» Леван, конечно, знал, что чаша эта переходит из поколения в поколение, от отца к старшему и достойному сыну. Он не только знал это — он слышал и помнил множество сказаний о воинской чести, легендарной храбрости и мужестве алан — предков

осетин и их потомков. Но ему было приятно еще раз послушать на прощанье отца. «Так слушай, лаппу, — наставительно говорил Елизбар, — было это когда-то давно, когда еще жил мой прадед Гоци, правнук Хетага — нашего родоначальника. И вот шах персидский опять напал войной на соседнюю Грузию. Тяжело тогда стало соседям, и царь грузинский попросил осетин помочь ему отбиться от нашествия... Нарских осетин-воинов — а их было много — повел тогда через перевал с севера на юг на помощь соседям мой прадед Гоци. Ему сопутствовало военное счастье: Гоци сразился с персидским шахом и одолел его... А в награду за победу грузинский царь пожаловал Гоци эту чашу с памятной надписью. Вместе с наградой царь Грузии возвел наш род в число почетных и знатных. И это надо помнить, раз едешь служить. А еще запомни, сын мой, вот это, — Елизбар показал сыну грамоту, пожалованную царем карталинских грузин Арчилом, тоже написанную по-грузински на аккуратно отделанной телячьей шкуре. — Вот что написано в этой грамоте: «В знак нашей милости нарскому Хетагуру и потомкам дома Вашего...» И это тоже — за воинскую доблесть. Вот еще грамота — она была пожалована в 1791 году».

«Усердному подданному царскому дворянину Хетагуру Дахчукову сыну Василию в том, что его царь определил при дворе своим переводчиком на осетинском языке и назначил жалование 30 марчилов», — прочитал Елизбар.

«Видишь, лаппу, твои предки были не только храбрыми, но и грамотными людьми. Будь же и ты, лаппу, доблестным!» — перекрестил Елизбар сына, решившего посвятить себя воинской службе.

И служил Леван Елизбарович отечеству на совесть. Почти из каждого похода и войны он возвращался с ранением и наградой. За участие в легендарной обороне Севастополя (1853—1856) он удостоился бронзовой медали на георгиевской ленте, серебряной — за участие в войне с Шамилем. Последняя была самой памятной из всех кампаний, в которых участвовал Леван Елизбарович. В этой войне, как мы узнаем из его «Послужного списка», он, будучи еще неграмотным, командовал в кавалерии осетинской сотней. «В деле при взятии аула Аух ранен в обе ноги и пользовался от ран дома...» — читаем в том же «Послужном списке». К тому времени (1858) относится и его женитьба на чудесной красавице-осетинке Марии Гавриловне

Губаевой, дочери поручика русских войск, происходившего из нарских осетин. В октябре 1859 года она подарила Левану Елизбаровичу сына. Первенца пятидесятилетнего отца назвали Константином. Мария Гавриловна вскоре после родов умерла. Леван отвез сына в селение Цми и отдал его на воспитание своей дальней родственнице Чендзэ Хетагуровой — «женщине золотого сердца и доброго нрава, которая всей душой отдалась воспитанию ребенка».

Жил и рос Коста в доме доброй горянки Чендзе, но кто из жителей аула не проявлял о нем заботу!

Отец Коста — Леван Елизбарович — продолжал нести службу далеко от дома, во Владикавказе, и редко видел сына. Вскоре он снова женился — на вдове офицера, дочери священника Кизмиде Сохиевой. Вторая жена родила Левану Елизбаровичу дочь — Ольгу. Тогда он и вернул сына в свою саклю на круче утеса в ауле Нар.

Шло время, дети подрастали. Семилетний Коста стал ходить в Нарскую церковноприходскую школу — единственную на весь Нарский приход. Учителем здесь был его родной дядя по матери — Иван Губаев, человек жестокий и грубый. Понятно, что Коста всячески стремился избежать занятий в школе и нередко даже убегал из дому.

Видя это, Леван Елизбарович в 1868 году отдал сына в один из частных домов во Владикавказе, где он должен был научиться русскому языку, а в 1869 году определил его в подготовительные классы Владикавказской прогимназии. Прогимназия была на хорошем счету и уже в 1870 году была преобразована в реальную гимназию.

Здесь Коста учился с удовольствием; преподаватели отмечали его успехи по всем предметам и особую склонность к рисованию. Благотворное влияние прогимназии на мальчика было кратким: через год он был отчислен как переросток.

Леван Елизбарович был глубоко огорчен, когда сын вернулся домой, но не расстался со своей мечтой дать ему образование.

Сделать это, как известно, в те времена было чрезвычайно трудно рядовому офицеру царской службы: в единственную на всю Терскую область гимназию во Владикавказе попадали редкие счастливицы — сыновья крупных чиновников, самых именитых и имущих господ.

Но, как казалось, Левану Елизбаровичу повезло: начальство обещало ему, влиятельному и авторитетному среди земляков человеку, принять и обучать на казенный счет его детей, если он возглавит переселение гибнущих от нищеты и голода и бунтовавших против своих угнетателей обездоленных горцев-христиан из горных трущоб в верховьях Алагирского ущелья в Карачаевские горы Кубанской области.

После окончания в 1864 году Кавказской войны и массового переселения мусульман-горцев в Турцию северные склоны Главного Кавказского хребта в пределах Кубанской области совершенно опустели. Переселяя сюда осетин-христиан, царское правительство надеялось не только решить земельный вопрос в Северной Осетии, но — прежде всего — положить начало заселению нагорной полосы Кубанской области «населением христианским, благонадежным в политическом смысле и вместе с тем таким, которое свыклось уже с горным хозяйством, так как только горцы при своих своеобразных приемах ведения хозяйства и при своих крайне ограниченных потребностях могут устроить свой быт в такой местности, как северный склон Главного Кавказского хребта в пределах Кубанской области, почти сплошь заросшей чрезвычайно густым лесом, труднодоступной и заключающей в себе чрезвычайно мало мест, сколько-нибудь удобных для ведения сельского хозяйства».

Так цинично объясняли царские чиновники необходимость переселения части осетин в Кубанскую область.

Дело это не было легким, и не случайно начальник Терской области решил привлечь к нему влиятельных среди осетин лиц. Естественно, выбор его пал на Левана Елизбаровича Хетагурова, «так как от переселения названного офицера, происходящего из лучшей горской фамилии, пользующейся в народе особым доверием и отличающегося своею прежнею боевою службою, вполне зависит исход переселения в Кубанскую область остальных безземельных осетин».

Человек с большим жизненным опытом, он состоял на службе в Терской постоянной милиции и скоро должен был выйти в отставку.

Царские власти выделили по 35 рублей «подъемных» на семью и обещали выделить на каждую душу мужского пола 15 десятин земли. Никакой другой помощи переселенцам не

оказывалось, и больше месяца они перебирались на арбах на новое место.

По прибытии на Кубань некоторые переселенцы стали думать о возвращении на родину и, несмотря на всевозможные препоны властей, вернулись в Осетию. Большинство же, последовав примеру Левана Елизбаровича, обосновались на новом месте и, благодаря мужеству и трудолюбию, превратили занятые ими земли в цветущий край. Леван Хетагуров в течение ряда лет был сельским старшиной.

Предлагая Левану Елизбаровичу возглавить переселение земляков, царская администрация обещала ему пенсию в триста рублей серебром, земельный надел на новом месте и — главное, что привлекло Хетагурова, — право обучать детей на казенный счет в русских учебных заведениях. Однако с выполнением этих обещаний чиновники не торопились. Леван Хетагуров неоднократно обращался с прошениями определить сына в гимназию и отвести ему удобную для обработки землю. В письме из департамента Главного управления наместника Кавказа подтверждалось прежние обещания об отводе земли и об «определении сына его Константина в учебное заведение... для воспитания на счет казны, а именно, определение его на одну из казеннокоштных горских вакансий в пансионе Ставропольской гимназии, если только этот мальчик удовлетворяет всем условиям, требующимся от поступающих в ту гимназию мальчиков».

Но прошло еще два полных года волокиты, пока «наместник изволил предположить войти с представлением об испрошении высочайшего государя императора соизволения на всемилостивейшее пожертвование... подпоручику Левану Хетагурову... участков земли...». А спустя еще четыре года, в марте 1876 года, Л. Е. Хетагуров получил, наконец, участок земли на нагорной полосе Кубанской области. Но к тому времени он, шестидесятишестилетний человек, почти не имел сил возделывать землю, а охотников брать у него в аренду малоплодородный участок земли почти не было. Утешался Леван Елизбарович тем, что его сын Константин устроен и учится в Ставропольской мужской гимназии, а потом пойдет и дальше. Смышленный малый станет, как ему очень хотелось, офицером, на худой конец выучится и будет коммерсантом, заведет хозяйство...

Леван и в мыслях не допускал, чтобы сын оставил учебу

в гимназии за год до ее окончания и уехал в Петербург, покинув отца и не ответив на тревоживший его вопрос: «Сы уйдзына, лаппу, сы?» («Кем ты будешь, мальчик, кем?»).

Счастье... О чем я, безумец, мечтаю?
Где в наше время счастливица найдем?
Нет, не о счастье я к богу взываю...
Друг мой, о чем?

КОСТА

2

В лунную ночь Коста бродил по улицам Луги под Петербургом. Он разыскивал дачу земляка — генерала Магомёта Абацьева, где должен был встретиться со своим двоюродным братом — Андучапаром Хетагуровым. С ним они были не только родственниками, но и друзьями.

Не сразу, но все же нашел он нужный ему дом в липовом саду-парке и обошел, оглядел его со всех сторон. В особняке было темно: все его обитатели, в том числе и сторож, спали мертвым сном. Даже собака не залаяла на него. Двери и окна прекрасного здания в один этаж были заперты наглухо. Коста еще раз обошел его, повнимательнее присматриваясь к окнам: «В какое же из них постучать?» Вдруг он заметил приоткрытое окно на северной стороне дома. «Это хорошо: не придется будить всех спящих. Влезу вот в это окно!» — подумал он и осторожно раскрыл его, потом бесшумно вскочил на подоконник и спрыгнул в комнату. Но вот ужас! Кто-то схватил его в охапку и скрутил ему руки, а потом негромко спросил:

— Кто ты? Что тебе тут надо?

Коста опешил от неожиданности, в какие-то секунды прикусил язык со страха, а потом, еле дыша, промолвил:

— Это я, Коста... Хетагуров.

— Ты — Коста? — услышал он знакомый голос. Это был Андучапар. — Так что ж ты лезешь в окно, как вор? — И он его еще сильнее стиснул не то от радости неожиданной встречи, не то от досады, что в такой поздний час он по-воровски лезет в господский особняк через окно.

— Отпусти же ты меня, медведь, насмерть задавишь! — громко взмолился Коста.

— А ты потише, брат, господ разбудишь! — предупредил его Андучапар и провел в гостиную. Здесь он зажег свечу и посадил гостя в мягкое кресло, потом набросил на себя халат и присел рядом.

Придя в себя, Коста поднял большие черные глаза и обвел взглядом богато обставленную гостиную.

— Не так уж плохо ты устроился, бедный горец, — ехидно улыбнулся Коста.

— Бог дает — в окно подает, — весело ответил Андучапар. — Неплохо, конечно, и бедному студенту пожить на хлебах генеральши!

— Почему генеральши, а не генерала? — удивился Коста, не сводя глаз с большого, почти на полстены, портрета императора.

— Генерал покинул белый свет раньше времени, — серьезно ответил Андучапар. — Боевой был он, большим почетом пользовался при дворе его императорского величества! Помер, оставив генеральшу вдовой, а детей — сиротами. Она-то и пригласила меня репетировать генеральских сынов. И действительно неплохо мне тут, не жалуюсь... А ты, братец, рассказывай, как там наши в Лябе и в Наре? Каким ветром тебя занесло в столицу в такое смутное время? Рассказывай по порядку и подробно.

— Обо всем этом потом, братец, — уклончиво ответил Коста. — Посвяти-ка лучше ты меня в столичные новости. Как вы тут дошли до такой жизни, что укукошили царя-батюшку? — улыбнулся Коста и показал на портрет императора. — Как все это произошло?

— Да ты потише, буйная головушка! — зашикал на него Андучапар. — Не забывай, что ты находишься в генеральском доме... И о таких вещах в Питере говорят только вполголоса и то сняв шапку...

Коста вскочил, снял фуражку, по-мальчишески скинул с себя форменную тужурку и бросил их на соседнее кресло.

— Ну вот, Анду, снял я шапку и даже тужурку, — проговорил он и снова сел в кресло. — Мы ничем не нарушаем этикет этого дома. Рассказывай, пожалуйста, как вы тут удивили весь мир — императора-самодержца прикончили?

— Кто же, братец, так легкомысленно отзывается о таком событии? Или даль сибирскую решил проведать? Чтобы ни звука я от тебя не слышал об этом! Понял? Питер тебе — не Ставрополь: тут и стены с ушами. Лучше скажи, чего ты пожаловал в Питер? Или у твоего старого отца лишние деньги завелись?

— Нет, братец, нет... — с глубоким вздохом ответил Коста. Он встал, вынул из внутреннего кармана тужурки пачку исписанных бумаг и передал Андучапару:

— Вот цель моего приезда в столицу... Бери, читай и радуйся: еще один Хетагуров станет студентом.

«...Желая поступить в число учеников академии, — с неохотой начал читать Андучапар, — честь имею покорнейше просить допустить меня к приемным экзаменам...» Не дочитав написанное аккуратным почерком прошение Коста на имя ректора Петербургской Академии художеств, он покачал головой, поднял глаза, недоуменно уставился на него:

— Ты что, братец? Гимназию бросил? Отца послушал?

— Да и нет, — задумчиво ответил Коста. — Отца моего угворили, и он смирился, бумаги разные мне он сам выхлопотал от начальства... Читай, пожалуйста, они приложены к прошению.

Андучапар перевернул прошение и принялся читать вслух следующую бумагу, в которой начальник Кубанской области писал ректору академии:

— «Директор Ставропольской гимназии ввиду того, что во все время пребывания в гимназии воспитанника Хетагурова — жителя Баталпашинского уезда, укрепления Хумар, замечая в нем преобладающую способность и склонность к художественной деятельности, в которой он достиг значительно совершенства, так что его рисунки с натуры посылаются гимназией на Московскую Всероссийскую выставку, просил меня о предоставлении ему одной из двух стипендий, оплачиваемых из горских штрафных сумм, которые в текущем году будут свободны за окончанием курса наличными стипендиатами, с целью оказания ему содействия на пути художественного образования в Императорской Академии художеств. На этом основании зачислив Хетагурова стипендиатом одной из вакансий, оплачиваемых из горских штрафных сумм, для поступления в Императорскую Академию художеств, об этом

...ую честь уведомить академию, присовокупляя, что о переводе причитающейся на означенный предмет суммы вместе с сим сделано мною соответствующее распоряжение».

С трудом дочитав казенную бумагу, Андуканар вздохнул вытер вспотевший лоб.

— Нуднейший слог, тяжело читать! А по сути — радуется. Считай, братец, что стипендией ты обеспечен. А экзамены кто за тебя будет сдавать? В академию же принимают по окончании курса гимназии. Тебе это известно?

Эти слова старшего неприятно кольнули Коста, и он встал.

— Ты хочешь сказать, Андуканар, что в Ставрополе я был не самым смиренным и выдающимся учеником в познании наук? Что то, видимо, что я не имею аттестата об окончании гимназии? — с некоторым ехидством спросил младший Хетагуров старшего.

— Да, дорогой мой, ты правильно меня понял, — серьезно ответил ему Андуканар. — Все это и многое другое, присущее каждому неуравновешенному характеру и нраву, братец, стоит будет стоять тяжелым камнем на твоём пути к вершинам наук.

Коста начал нервничать. «Вот тебе и братец! — подумал он про себя. — Разоружает, когда надо бы вооружить меня, подвять дух. Скептик ты этакой!» И он взял из его рук бумаги.

— Да, я без аттестата, — нервно говорил он. — А вот эти бумаги не заменят ли мне аттестат?

Коста пошарил в документах и, отыскав нужные, прочитал в дух выдержки из писем ректору академии от директора Ставропольской гимназии «о принятии Константина Хетагурова Императорскую Академию для специального образования его в художественному искусству, почему Хетагуров уволен уже из гимназии...», а потом и из блестящей характеристики-рекомендации педагога Василия Ивановича Смирнова молодому художнику. Передохнув и прямо посмотрев на старшего брата, он уверенно и задиристо добавил:

— А экзамены я постараюсь сдать! Давно, очень давно я к ним готовился... И курс за седьмой класс гимназии самостоятельно одолел, да и усвоил его не хуже тех, кто «грыз» его в стенах гимназии. А этого ты не знал. Как два года назад ты закончил Ставропольскую гимназию, братец, как уехал в свой Питер учиться на лекаря, я для тебя перестал суще-

ствовать. Да и на родину не показываешься. Что, генеральша приворожила? — улыбнулся Коста.

— Брось болтать, сумасшедший! — почти прикрикнул Андуканар на него по праву старшего. — Не от хорошей жизни я тут вожусь все каникулы с барскими отпрысками! Кормят, да и копейку накапливаю к зиме на хлеб... А Питер тебе не Ставрополь: здесь все гораздо сложнее и труднее. Здесь, в столице, человек может пропасть, особенно наш брат, как снежинка в океане. Ты хоть подумал об этом?

— О чем же, брат? — мягче сказал Коста, чувствуя, что обидел старшего. — Почему пропаду?

— Вот в том-то и беда, что не знаешь, как тут пропадают таланты, не успев расправить крыльев, — сказал Андуканар. — Ты, братец, сюда, в столицу, приехал с немалым грузом ставропольского вольнодумства!..

— Одумайся, брат, — всполошился Коста. — Не надо, брат, о прошлом!

— Нет, надо! — еще сильнее подчеркнул Андуканар. — Не думай, что я забыл твои ставропольские «проказы». Молчи и слушай, я тебе их напому. — Старший Хетагуров был беспощаден к младшему и начал ему выговаривать.

Андуканар во многом был прав. После долгих хлопот отца Коста был принят в 1871 году казеннокоштным учеником в Ставропольскую мужскую гимназию. В первые годы он был «учеником примерного поведения». Андуканар, который учился уже в четвертом классе в той же гимназии, гордился младшим братом. Старшего Хетагурова особенно радовало то, что у общительного младшего появились друзья из лучших пансионеров. По-хорошему завидовал он Константину, что педагоги нередко ставили его в пример другим ученикам. Это заметил и отец, и педагоги-доброжелатели. А педагоги в Ставропольской гимназии в те годы, за редким исключением, были прогрессивными, образованными, к своей работе относились добросовестно и с большой любовью. Таким был учитель рисования, незаурядный художник Василий Иванович Смирнов. Он приехал в Ставрополь после окончания Петербургской Академии художеств. У Смирнова было шестьсот учеников, и среди них лучшим он считал Коста Хетагурова. Правда, Андуканар никак не мог этого понять — ему казалось, что другие ученики рисовали «красивее», чем Коста. Может быть, он не хотел видеть

младшего брата художником — ведь в гимназии не очень ценили детей, способных к художественному творчеству. Не случайно рисование преподавали только на реальном отделении, и многие занимались им из-за уважения к хорошему педагогу и обаятельному человеку — художнику Смирнову.

С таким же уважением гимназисты относились и к другим преподавателям, особенно к историку Василию Степановичу Воскресенскому, приехавшему из Московского университета, и преподавателю латыни, Алексею Ивановичу Бенедиктову. А учитель словесности Михаил Васильевич Краснов, автор ряда книг, стал «властелином душ» многих и многих учеников. Когда он читал на уроках «недозволенные» стихи Некрасова, все слушали его затаив дыхание. Может быть, думал Андуканпар, интерес Коста к литературе вызвали эти «пагубные», как считало начальство, стихи, которые он «без учебной надобности» выучил наизусть и часто повторял, даже напевал. А с преподавателем естественной истории Миловидовым Хетагуровы подружились так, что водой не разольешь... Умных и образованных учителей в гимназии было немало, но они были зажаты в рамки полицейского режима, введенного и все усиливавшегося в учебном заведении по велению властей, которые железной метлой «выскабливали» из гимназии укоренившийся в ней дух «вольнодумства», дух революционной демократии 60-х — 70-х годов, — идеи Чернышевского и Добролюбова. С усилением полицейского режима в гимназии атмосфера все больше накалялась. За решетку царской тюрьмы попадали не только «неисправимые» преподаватели, но и немало из числа воспитанников. Однако реакция не могла остановить стремление «дерзающей науки молодежи» к знаниям. Среди молодежи большую популярность приобрела городская библиотека Ставрополя, которую с любовью называли «лопатинской». Известный русский революционер Герман Александрович Лопатин — первый переводчик на русский язык «Капитала» Карла Маркса — создал эту публичную библиотеку. В письме к своему единомышленнику Лопатин писал: «Я... пускаю всех и даю им все, но для этого я вынужден на свой страх вести фальшивые конторские книги». «Посещая не раз публичную библиотеку, — жаловался начальству директор гимназии, — я всегда в ней вижу много наших воспитанников и еще больше семинаристов. Все они выбирали себе для чтения большей частью

весьма пикантные вещи. На первом плане были, разумеется, журналы «Дело», «Искра» и т. д. или книги вроде Добролюбова, Чернышевского, Михайлова... Мне казалось всегда, что если в Ставропольской гимназии, хотя к счастью весьма редко, попадаются иногда молодые люди с превратным так называемым отрицательным направлением, то причину этого надо искать положительно в здешней библиотеке».

«Людьми с превратным направлением» директор считал тех, кто читал запрещенную литературу и на кого власти заводили дела о «государственном преступлении». Такими были шестиклассники Давыдов, Ермаков, Чернявский, Гамлицкий, Акимов, Вишневский, Приселков, Шмидт... Некоторых из них арестовало жандармское управление и донесло об их «государственном преступлении» главноначальствующему на Кавказе, а также прокурору судебной палаты и министру юстиции. Несовершеннолетних исключили из гимназии и поставили под бдительный надзор полиции, а других — за решетку.

Но стихийная борьба учащихся гимназии против духовного гнета не прекращалась. Репрессии вызывали еще больший интерес молодежи к популярным в то время идеям народников и народовольцев, к чтению «крамольной литературы». Действовали тайные кружки; в них входили гимназисты, среди них был и Андукапар Хетагуров, близкие друзья и земляки Коста. В Петербургском революционном кружке, например, в то время вместе с другими активно участвовали осетины Алексей Ардасёнов, Ибрагим Шанаев, Ефим Газданов... Они были связаны со ставропольскими земляками. В Ставрополе тайными кружками руководили Ольга Канонова-Полицына и Спартак Росляков — близкий друг Коста, редактор гимназического подпольного издания «Люцифер».

Не стоял Коста в стороне от этого бурного течения и не мог быть его сторонним наблюдателем. В его тетрадях все чаще появлялись выписки из книг Сен-Симона, Чернышевского, Лассалья, Дарвина, Белинского, Писарева, Добролюбова...

— Ты, братец, — напомнил Андукапар младшему, — благодаря твоему доброму, отзывчивому характеру всегда пользовался большими симпатиями гимназических товарищей...

— Да, брат мой, это — правда, — прервал его Коста. — Так мне говорил и мой приятель Шанаев: «Ты, Коста, всегда был

Саид Габиев, русские — Борисов, Городецкий и другие. Но правда ли, что они собрались из-за Хетагурова? Кавказцам, особенно тем, кто знал Коста по Ставрополю, приятно было появление в Петербурге Хетагурова-младшего. У земляков теперь есть «свой» поэт, художник и затейник интересных студенческих дел. В Ставрополе он был таким вожаком молодежи, да и здесь, в столице, он останется таким же для земляков: способности режиссера, актера, автора пьес, декламатора он не потерял и снова будет душой студенческого кружка кавказцев. И теперь он не мог не поверить, что сегодня земляки собрались отметить его поступление в академию и принять в свои ряды. Но чего же они все, кроме Андуккапара, так долго сидят в чаще леса? Вот и шашлыки зажарены, закуски готовы, а земляки не подходят. «Что же они делают? — одолевало Коста любопытство. — В любви там не с кем объясняться — нет с ними девушек. Песни не поют, только птицы щебечут в лесу да листья на березах и осинах шуршат. Все так таинственно!»

Ароматный запах шипевших на горящих углях шашлыков напоминал ему родной край, и от этого его грусть усиливалась. Андуккапар раскладывал закуску и бутылки вина на разостланную на траве скатерть и не обращал никакого внимания на Коста.

— Ты бы, брат, хоть попробовал шашлыки — может, они получились не по вкусу вам, столичным.

— Не волнуйся, братец, по запаху чувствую, что они получились, — безразличным тоном буркнул Андуккапар, посмотрев на Коста. — А отчего у тебя такой грустный голос?

— Отчего же мне быть веселым? — Коста поднес шашлык на вертеле Андуккапару. — Пригласили вы меня на праздник, а заставили дым глотать. Разве это честно? Оцени труд мой: попробуй!

— Конечно, нет! — раздался голос за их спиной, и Андуккапар, вздрогнув, оглянулся. Он узнал Якова Борисова — земляка, студента учительского института, своего давнего приятеля.

— Поздравляю будущего Леонардо! — потирая руки на запах жареного мяса, весело сказал Борисов и протянул руку к Коста. — Художник, актер, поэт... Словом, будущий Леонардо... Рад, очень рад за тебя!

Горячий разговор молодых Хетагуровых продолжался до рассвета.

Старший все острее припоминал младшему его «проказы» в Ставропольской гимназии, а младший доказывал свою правоту.

Но иначе смотрел на «проказы» Коста педагогический совет гимназии. Руководство гимназии обратилось к начальнику Кубанской области «об истребовании от кого будет следовать метрического свидетельства, свидетельства об оспопрививании и удостоверения о сословном и должностном положении отца». Понятно, что последнее представлено быть не могло: легенда о дворянском происхождении Хетагуровых, придуманная ими самими, не имела документальных доказательств. Правда, когда-то, давным-давно, грузинские цари жаловали их грамотами, но российский закон о сословиях не признавал Хетагуровых дворянами: они «...по распоряжению начальства с 1867 года привлечены вместе с другими жителями селения Нар к платежу государственной подати... с каждого двора, а равно и других общественных сборов и повинностей!»

Поскольку необходимые документы представлены не были, в августе 1879 года Константин Хетагуров был лишен казенного содержания и переведен в приходящие ученики.

Но он не мог продолжать занятия: престарелый отец не был в состоянии содержать на свою пенсию семью и оплачивать расходы по обучению детей.

Естественно, что прежде всего Коста пошел к своему любимому учителю рисования — Василию Ивановичу Смирнову.

Увидев расстроенное лицо юноши, учитель спросил:

— Что стряслось с тобой, Коста, заболел?

— Хуже, Василий Иванович: меня лишили...

— Да, мой юный друг, — сочувственно сказал художник. — Мне известно, что тебя... за сочинение «Наша Родина» и за прочие «проказы», недозволенные в стенах гимназии. Мне говорили, что в «грехах преступного характера» твоего сочинения «виноваты» Некрасов и даже сам Александр Сергеевич Пушкин. Так ли это?

— Да, так, Василий Иванович, — с трудом произнес Коста.

— Непростительно, непростительно, — гневно усмехнулся Смирнов. — «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка-Русь!» Если бы не написал Некрасов

кровью сердца такие стихи, так откуда бы ты, Коста, мог их взять и процитировать в своем сочинении?! Или: «...Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна...» Не так ли, Коста?

— Конечно, так! — воскликнул Хетагуров, удивляясь тому, откуда знает Смирнов, что в сочинении он цитировал именно эти строки любимых поэтов.

— Не унывай, друг мой! — подбадривал его Смирнов. — Учиться ты будешь, да и нельзя тебе не учиться!

— Как же, Василий Иванович, я буду учиться? — поднял Коста большие черные глаза. — Отобрали у меня койку и постель, все казенное... В столовую не пустили... Денег у меня нет... Как я буду так учиться в чужом городе? Без крыши, без хлеба... У отца не попросишь: нет у него денег.

— Не горюй, друг мой, учиться ты будешь! — еще убедительнее повторил Смирнов и пригласил Коста к столу.

— Не вижу, Василий Иванович, такой возможности, — с отчаянием в голосе говорил он, взяв в руки бутерброд с колбасой. — Уйду, непременно уйду с труппой бродячих артистов! Другого выхода я не вижу.

— Что ты сказал, Коста? — Смирнов потрепал его густые вьющиеся волосы. — В бродячие артисты с такими способностями художника? Безумие, друг мой, детский лепет! А гимназия, за которой тебе светит Академия художеств?.. Скоро изменятся порядки в Ставропольской гимназии, и ты будешь в ней учиться...

— Это при Пузыревском-то изменятся? Нет, не может этого быть! Скорее перевернутся кавказские горы, а не полицейские порядки в гимназии! — отрезал Хетагуров.

— Верь, друг мой, верь: к нам на место Пузыревского приходит директором Неверов, Януарий Михайлович Неверов! — с радостью сообщает Смирнов.

— Неверов? — удивленно вскинул Коста руки. — Тот самый Неверов, которого считают энтузиастом просвещения, сеятелем света среди кавказских народов?

— Да, он, попечитель учебных заведений Кавказа, наш друг, — подтвердил Смирнов. — Я знакомил тебя с ним, когда он просматривал нашу выставку ученических рисунков. Он похвалил тогда тебя и предложил послать твои работы на Всероссийскую выставку. Разве не помнишь?

— Не только помню, но и люблю его так же, как вас, Василий Иванович, — засиял Коста. — Тогда я верю в свое счастье! Да здравствует новый наш директор Януарий Михайлович!¹

— Вот это другой разговор, друг мой. Да здравствует гимназия и сияющая тебе с вершин Кавказа Петербургская Академия художеств! — в шутку и всерьез сказал Смирнов.

— А как дожить мне до прихода нового директора, Василий Иванович? — снова погрузился Коста, вспомнив свое бедственное положение.

— Доживем, юный друг мой! — по-отцовски похлопал он его по плечу. — С твоей ясной, но буйной головой и золотыми руками мы не пропадем. Не очень-то жалею, что не будешь есть казенную кашу, спать в казарме, сморкаться в казенный платок, как казеннокоштные, и находиться под недремлющим оком

¹ Позднее Коста напишет стихотворение «Памяти Я. М. Неверова»:

Я знал его... Я помню эти годы,
Когда он жил для родины моей,
Всего себя он отдавал лишь ей.

Я не забыл, как светочем познанья
Он управлял могучею рукой,
Когда с пути вражды и испытанья
Он нас повел дорогою иной.

Мы шли за ним доверчиво и смело,
Забыв вражду исконную и месть, —
Он нас учил ценить иное дело
И понимать иначе долг и честь...

Он нас любил, и к родине суровой
Он завещал иную нам любовь, —
Отважный пыл к борьбе направил новой
И изменил девиз наш — «кровь за кровь».

Он нам внушил — для истинной свободы
Не дорожить привольем дикарей...
Я знал его, я помню эти годы,
Когда он жил для родины моей...

надзирателей и инспекторов. Сниму я тебе комнатку у какой-нибудь расторопной старушки здесь же, на «Воробьевке», поблизости от меня, и будешь жить...

— А есть что буду, Василий Иванович? — прервал его Коста.

— И работу тебе найду,— заверил Смирнов.— Будешь мне помогать в свободное время мазать купеческие головы, писать сверкающие вывески лавочникам... И деньги на хлеб и квас будут... А в гимназии продолжишь учебу на правах проходящего ученика. Так, пожалуй, тебе даже лучше: читай какие хочешь книги, рисуй что захочешь. Я — рядом и буду тебе помогать готовиться к приемным экзаменам в академию. Согласен?

— Спасибо, благодетель мой, Василий Иванович, конечно, согласен! — от всего сердца поблагодарил Коста учителя.

Говорят, не бывает худа без добра. Приходящим учеником он почувствовал себя более свободно. Ему удавалось учиться и работать, работать и учиться, успешно сдавать экзамены и самостоятельно освоить курс 7-го класса гимназии. Оставалось у него время и для чтения «недозволенных» книг. Из «Что делать?» Чернышевского, например, в свой дневник, как собственный девиз, он выписал: «Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести...»

А в другой его тетради Смирнов, к своей радости, как-то прочитал следующую запись: «...Как ни упорно и упрямо борется старина с новизной, однако рано или поздно последнее будет торжествовать над первым, таков уж закон природы: истина пробивает себе путь и через огонь, и через темницы, пока достигнет той высоты, которая ей принадлежит по праву...»

Закрывая тетрадь, Смирнов с гордостью подумал: «Растет на моих глазах не только художник и поэт, а и философ: «...истина пробивает себе путь и через огонь, и через темницы, пока не достигнет той высоты, которая ей принадлежит по праву...» — мысленно повторил он.— Эх, удалось бы мне помочь ему поступить в академию! В Петербурге он бы раскрыл свои крылья и парил бы, как могучий орел над снежными вершинами Кавказа!»

Часть Вторая



Как змея, напасть
В грудь мою впилась.
Пропади ты прочь,
Злого горя власть!

КОСТА

1

Пять недель продолжалось состязание тех, кто поступал в Академию художеств. В этом сражении, как назвал его Хетагуров-старший, участвовало более двухсот тридцати юношей, приехавших в Питер из разных городов Российской империи. У каждого из них за плечами полный курс классической гимназии и титул именитого дворянина, богатые родители. Один он, Коста Хетагуров, и без аттестата об окончании гимназии, и без дворянского звания. И хотя на поле боя родословная — не главное оружие, трудно было попасть на одно из тридцати пяти вакантных в академии мест. Поэтому Андучапар имел основания утверждать, что Коста не такой счастливец, чтобы выиграть в таком сражении.

И когда после экзаменов пришел к Андучапару усталый, голодный, изможденный Коста, тот встретил его не очень-то ласково:

— Говорил же я тебе, упрямец неисправимый, не лезь! А ты все же полез и... осрамился. Это я вижу по твоему мертвецки бледному лицу...

— Не торопись, брат, дай отдышаться и поесть, — медленно произнес Коста и протянул Андучапару бумагу с гербовой печатью.

Хетагуров-старший читал и не верил своим глазам: Константин Хетагуров «состоит академиком в Петербургской Императорской Академии художеств... Выдана... сия для свободного

проживания в Санкт-Петербурге... сроком по 1 октября 1884 года».

— О Хетага уастырджі, неужто правда?! — взмолился Андуканар и перечитал написанное на гербовой бумаге. — Да, да, ты, братец мой, принят в академию! Верю, теперь верю! — И он заплясал с такой радостью, словно его Коста, подобно легендарному нарту Батрадзу, в единоборстве победил всех злых духов на земле. — Я-то не верил, честно, не верил!..

— Я и сам не верил и сейчас еще не верю, что принят, — заметил Коста. — Да и не знаю, за что мне выставили на экзаменах высший балл...

— Конечно, не за твои красивые черные глаза, башка у тебя — хетагуровская, — похлопал его по плечу Андуканар. — Пляши же, чертенок, пляши! Представляешь, как твой учитель Смирнов обрадуется, когда услышит весть о твоей победе! Не шутка же — в таком большом конкурсе получить высший балл!..

...Этот огромный город казался Коста невыдуманной легендой, и он бродил по нему и день, и два, и три... неделю, но ни у кого ни о чем не спрашивал, сам находил и долго-долго рассматривал все, что его интересовало. Коста был очень и очень благодарен Пушкищу и Лермонтову, Некрасову и Гоголю, Толстому и Достоевскому, многим и многим другим писателям за то, что они так точно и зримо, так широко и правдиво нарисовали в своих произведениях столицу русского государства. Остановившись перед каким-нибудь памятником или проходя по какой-либо площади, оглядывая людные проспекты и прекрасной архитектуры здания, Коста ловил себя на том, словно все это он видит не впервые, словно он уже побывал тут когда-то давно, при другой жизни. Да, конечно же, этой другой его жизнью была неугасающая страсть к чтению книг. И вот диво дивное: чем больше он читал, тем острее чувствовал, что читает мало, ничтожно мало, и жажда к чтению, познаниям обострялась все сильнее.

Вот и печально известная Сенатская площадь. Камни ее священны — они омыты кровью декабристов. Он представил себе морозный день 14 декабря 1825 года, гром пушек царя Николая I и здесь, на этой площади, замертво падающих солдат и офицеров. Убитые и раненые коченели на площади, на льду Невы, на мостовых прилегающих улиц...

Царь жестоко расправился с восставшими: ими заполнились

тюрьмы, тысячи были сосланы на каторгу и на верную гибель в те места, откуда живыми почти не возвращались. А вожаков восставших — Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского повесили. Всех их заклеили позором. Но позор обернулся вечной славой: искры революционного духа декабристов разлетелись по бескрайним просторам Российской империи, и от них вспыхивал огонь. И — сердце свидетель — одна из таких искр попала и в душу Хетагурова. Разжечь бы ее в огонь, в пламя!

В самом деле, какие ужасающие контрасты! Величайшая сокровищница мировой культуры — Эрмитаж — и повешенные... Некрасовский дом, стены которого хранят голоса авторов «Обломова», «Дворянского гнезда», «Войны и мира», — и громкий цокот копыт коней, перепуганных от взрыва бомбы под царем, полицейские, патрулирующие постоянно улицы и площади столицы... Роскошный Невский проспект — и трущобы Галерной гавани, они страшнее горской нищеты и захолустья на окраинах Ставрополя... Долго ли будут соседствовать рабское существование ограбленного народа, народа-богатыря, давшего миру шедевры искусства и литературы, гениальных мыслителей, и класс богатеющих грабителей!.. А ведь полгода назад бомба, оборвавшая жизнь царя-«освободителя», была не чем иным, как вспышкой одной из искр от огня, зажженного декабристами.

2

Занятия в «вольной Императорской Академии художеств» начинались утренней молитвой. Вставать в такую рань Хетагурову очень и очень не хотелось: устал не только и не столько от экзаменов, а больше от того, что с утра до поздней ночи ходил по музеям, посещал театры и выставки... Но опоздание на утреннюю молитву в академии считалось чрезвычайным происшествием и никому не прощалось. А опоздать в столовую и вовремя не занять свое место за длинным столом было куда большим наказанием самому себе: твой завтрак, обед или ужин моментально съедали другие.

Коста сравнивал режим в академии со знакомыми ему порядками в Ставропольской гимназии и не находил никакой

разницы: тот же казарменный режим, только, пожалуй, жесточе, а надзирателей и инспекторов здесь было куда больше, чем в гимназии, к тому же они были грубее и строже. Как ни повернись — непременно столкнешься с надзирателем, инспектором или с кем-то из их помощников. Подъем в шесть утра — по команде, на молитву — по команде, в столовую — по команде, на занятия тоже ведут строем, как солдат-новобранцев. И кормят в академии хуже, чем в гимназии. Почему же тогда называют ее «вольной»? Преподаватели в расшитых мундирах ходят скорее на чванливых генералов, чем на педагогов-воспитателей. Академисты боялись их и при встрече шарахались в сторону: никто из них не хотел встретиться лицом к лицу с такими учителями. Строгость, строгость везде и всюду!

Узкие, длинные-длинные коридоры академии скорее походили на подземные катакомбы; мастерские и аудитории — грязные, тесные, душные, с закопченными стенами и потолками. Керосиновый угар заполнял коридоры и аудитории. В рисовальных классах — нумерованные места для основных студентов, а вольнослушатели должны были сидеть на поленьях, которые они принесли с собой. Звякнув связкой ключей, сторож отпирал класс, и вольнослушатели пробивали себе поленьями путь к круглому пьедесталу, занимали «низкие», нумерованные, но более удобные места на полу, поближе к натурщику. Желаящие поменять нумерованные места на «низкие» всегда находились, и не потому, что сидеть в тесноте на полене и рисовать было легче. В набитой людьми аудитории издали не разглядеть натурщика или фигуру, которую надо скопировать.

Коста привыкал к этой обстановке и даже полюбил напряженную тишину в аудитории, в которой был слышен только легкий скрип нескольких десятков карандашей, — он напоминал ему стрекотание кузнечика. Устав от напряженной работы над рисунком, он поднимал голову и обводил взглядом лица однокашников. Какое разнообразие лиц и костюмов! «Каковы же они по характеру, чувствам и духу? — мысленно задавал себе вопрос Коста. — С кем бы из них завести близкое знакомство, дружбу?» Он, общительный и дружелюбный человек, не мог без друзей. Но и торопиться нельзя: кто знает, с кем поведешься! Больше других привлекал его внимание спокойный, невысокого роста, молчаливый юноша, к которому сту-

денты относились с особенным уважением. Коста слышал, что это сын знаменитого композитора Серова. Говорили, что — талант, сам Репин это оценил. Держался юноша Серов несколько особняком, но товарищи были к нему внимательны. Работал он упорно, с увлечением. С какой-то безжалостной яростью рвал он то, что ему казалось неудачным, и снова всматривался в натуру, словно хотел увидеть ее душу сквозь внешние очертания...

Большеголового, коренастого Архипа Куинджи Хетагуров сразу заметил: с большими карими глазами, он был резок в движениях, упорен на занятиях. Не зря, видимо, говорили о нем, что его талант ярок и своеобразен... «Да, есть здесь такие яркие академисты, с которыми, когда придет время, нельзя не подружиться!» — убеждал себя Коста и снова принимался за дело. Всем было трудно не только работать в классе, но и дышать: густо чадили керосиновые лампы, от дыма захватывало дыхание. Но «терпи казак — атаманом будешь!». Так и тут. Терпи и учись, учись и терпи, если хочешь стать художником, а художником должен стать — есть у тебя такой дар от природы: на вступительных экзаменах по рисунку ты получил высший балл... И учись, перенеси все невзгоды, ты — мужчина. В горских саклях еще дымнее, еще чаднее!

3

Это воскресенье — тихий пасмурный день — Коста оказался несбыточным сном. В середине небольшой лесной поляны на Васильевском острове под открытым небом весело горел костер. Андукапар, отмахиваясь от едкого дыма, не спеша подбрасывал в него сухой березовый валежник. А Коста в поте лица отстругивал березовые палки для шампуров. Он никогда бы не подумал, что в Петербурге ему придется заниматься таким привычным делом, как приготовление шашлыков.

Сегодня на пикник собралось не так уж мало земляков. Андукапар объяснил, что собрались студенты из всех институтов Петербурга и даже некоторые из тех, кто уже закончил учебу и по разным причинам остался работать в столице. Среди них и знакомые Коста по Ставропольской гимназии. Это карачаевец Ислам Крымшамхалов из княжеского рода, дагестанец

Саид Габиев, русские — Борисов, Городецкий и другие. Но правда ли, что они собрались из-за Хетагурова? Кавказцам, особенно тем, кто знал Коста по Ставрополю, приятно было появление в Петербурге Хетагурова-младшего. У земляков теперь есть «свой» поэт, художник и затейник интересных студенческих дел. В Ставрополе он был таким вожаком молодежи, да и здесь, в столице, он останется таким же для земляков: способности режиссера, актера, автора пьес, декламатора он не потерял и снова будет душой студенческого кружка кавказцев. И теперь он не мог не поверить, что сегодня земляки собрались отметить его поступление в академию и принять в свои ряды. Но чего же они все, кроме Андучапара, так долго сидят в чаще леса? Вот и шашлыки зажарены, закуски готовы, а земляки не подходят. «Что же они делают? — одолевало Коста любопытство. — В любви там не с кем объясняться — нет с ними девушек. Песни не поют, только птицы щебечут в лесу да листья на березах и осинах шуршат. Все так таинственно!»

Ароматный запах шипевших на горящих углях шашлыков напоминал ему родной край, и от этого его грусть усиливалась. Андучапар раскладывал закуску и бутылки вина на разостланную на траве скатерть и не обращал никакого внимания на Коста.

— Ты бы, брат, хоть попробовал шашлыки — может, они получились не по вкусу вам, столичным.

— Не волнуйся, братец, по запаху чувствую, что они получились, — безразличным тоном буркнул Андучапар, посмотрев на Коста. — А отчего у тебя такой грустный голос?

— Отчего же мне быть веселым? — Коста поднес шашлык на вертеле Андучапару. — Пригласили вы меня на праздник, а заставили дым глотать. Разве это честно? Оцени труд мой: попробуй!

— Конечно, нет! — раздался голос за их спиной, и Андучапар, вздрогнув, оглянулся. Он узнал Якова Борисова — земляка, студента учительского института, своего давнего приятеля.

— Поздравляю будущего Леонардо! — потирая руки на запах жареного мяса, весело сказал Борисов и протянул руку к Коста. — Художник, актер, поэт... Словом, будущий Леонардо... Рад, очень рад за тебя!

Коста тоже вспомнил Якова Борисова: их познакомил еще в прошлом году в Ставрополе Спартак Росляков, и теперь Коста был рад такой встрече — он пожал ему руку, как старому знакомому.

— Куда нам, бедным горцам, до гениального Леонардо да Винчи! — не в шутку ответил на комплимент Коста и поднес Борисову румяный шашлык: — Пожалуйста, попробуйте!

— Ну как, Яков: кто прав — москвичи или питерцы? — спросил Андукапар у Борисова, забыв, что Коста ничего не знал о проходившем тут тайном собрании Петербургского кружка земляков-кавказцев.

— Ты, Андукапар, о результатах дискуссии спрашиваешь? — обжигаясь горячим шашлыком, переспросил Борисов.

— Да, Яков. Какой ответ вы решили дать на «Воззвание» москвичей? — уточнил свой вопрос Андукапар. Он хорошо знал, что сегодняшний сбор земляков был посвящен обсуждению «Воззвания Всероссийского Совета студентов», а чествование Коста было просто поводом: если бы полиция напала на их след, ответили бы: «Пикник в честь поступившего в академию земляка».

— Продолжение следует, — уклончиво ответил Борисов. — Вопрос о том, чем должны главным образом заниматься студенческие кружки, в частности и наш, за один присест не решишь.

Коста понял, что друзья утаили от него какое-то очень важное дело, и недовольно буркнул:

— Шашлыки пережарились! Зовите же прозаседавшихся товарищей, если ваши дебаты окончились.

— Чудную еду ты приготовил, Хетагуров, — дружески хлопнул его по плечу Борисов, поняв, что тот на них обиделся. — Ты не сердись! Дискуссии будут, да еще какие! И ты к ним, друг мой, готовься... Скоро начнем вечера устраивать. Они, как ты сам понимаешь, будут не только увеселительные... И твои стихи и живые картинки нужны будут, Хетагуров, а еще нужнее — пьесы на острые темы... Ты меня понял, Коста?

— Я понял вас лучше, чем вы меня, друзья, — вздохнув, серьезно ответил Хетагуров. — Про «Воззвание» я слышал и знаю о нем кое-что, хоть вы его и утаиваете. И считаю, что правы москвичи: студенческим кружкам пора бы

заняться более серьезными проблемами общественной жизни, чем оказание материальной помощи нуждающимся...

— Золотые слова! — громко сказал и хлопнул Борисова по плечу подошедший к ним высокий худощавый студент. — Городецкий. Борис Городецкий. Будем знакомы, Хетагуров! — весело протянул он руку Коста и, не дав ему слова сказать, продолжал: — Заочно я знаком с тобой. А твои рисунки я видел в Москве на Всероссийской выставке творчества учащихся. Это было года три тому назад. Нас тогда возили туда как будущих учителей...

— Какой же из них тебе запомнился? — не веря ему и также просто обращаясь к нему, спросил Коста.

— «Дарагой мой син», — не задумываясь, выпалил Городецкий. — Сидит старик-горец, в черкеске, с окладистой бородой, и пишет письмо сыну. Вывел слова: «Дарагой мой син». Это ты отца, наверное, рисовал, Коста?

— Да, ты угадал. Это был мой отец, — смущенно ответил он.

— А еще «Знамя с орлом», — продолжал Городецкий. — Вот тут-то я и понял, что красок ты не пожалел: яркие, сильные мазки!..

— Прости за фамильярность, Борис... Ты тоже с Кавказа? — прервал его Хетагуров, желая познакомиться с ним поближе.

— Нет, я — питерский, — бойко ответил Городецкий. — Родился я в холодном Петербурге и живу здесь, учусь в педагогическом институте — будущий учитель. Не удивляйся, что видишь меня среди кавказцев. У нас, у питерцев, здесь, на своей родной земле, жандармы-власти «не рекомендуют» создавать студенческие кружки, и мы их не имеем: распыляемся среди «провинциальных землячеств»... С детства я мечтаю побывать на Кавказе и насладиться его романтикой, посмотреть на жизнь кавказских горцев... И чем больше читаешь сочинения Пушкина и Лермонтова, Толстого и многих других о Кавказе, тем сильнее чувствуешь такую необходимость. Я пока там не бывал, но душою и сердцем — кавказец...

Пройдут годы, много лет, и профессор Борис Михайлович Городецкий вспомнит свое первое знакомство с Хетагуровым-студентом: «...читали, и читали иногда много и серьезно, зачитывались «Критическими заметками» П. Струве и только что появившейся тогда книгой Г. В. Плеханова (Н. Бельтова)

«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», штудировали усиленно «Капитал» Маркса, просиживали ночами до утра за чтением заграничной нелегальной литературы.

Чаще, чем у других, мы собирались на Колокольной улице (дом 6), у курсистки, кубанской казачки Е. З. Б — ой... Встречи с Коста в нашем кружке я очень любил, хотя его настроение никогда сразу не гармонировало с нашим... Мы зачастую были резво-веселы, он обычно грустил... Но эта грусть была какая-то особенная, она не носила нудливой тоски, он грустил тонко и красиво: в глазах, голосе чудилась красочная печаль... В ней, казалось, для него была и жизнь, и силы для работы...»

...Тосты были короткими. Проголодавшимся на воздухе студентам сейчас было не до длинных речей с бокалами в руках: ароматный запах сочной, жаренной на шампурах баранины, прослоенной прозрачным луком, разносился по лесу, обострял аппетит молодых. Все они поздравляли Коста с поступлением в академию и началом новой, студенческой жизни в столице, осушали бокалы с сухим кавказским вином и закусывали горячим румяным шашлыком. До чего это было вкусно!

Коста хотел угостить своим шашлыком Бориса Городецкого и Якова Борисова из собственных рук, но молодых людей уже не было видно.

— Куда же они исчезли, Борис и Яков? — спросил он у Саида Габиева, знакомого со Ставрополя, ныне студента технологического училища.

— Умчались, — ответил за Саида Ислам Крымшамхалов, — земляк из Карачая. — Барышни их ждут!..

Сына карачаевского князя Крымшамхалова, Крыма, как звали Ислама друзья, Хетагуров знал давно. В верховьях Кубани они, случалось, вместе ловили рыбу — крупную форель. Реку эту Крымшамхаловы считали своей собственностью, и другим не разрешалось ловить в ней рыбу, а в той бурной горной реке водилась красавица форель — царица рыб.

Подружившись с Коста, Ислам всегда рад был половить форельку с шустрым и ловким парнем Хетагуровым. Маленький тогда, Крым не кичился княжеским титулом родни и с ребятами — сыновьями холопов он был на короткой ноге. За это ему, конечно, не раз доставалось от старших князичей, но Ислам не сдавался...

«Профессоров ученики боялись как начальства и не знали как художников, — отзывался великий Репин об Академии художеств того времени. — Профессора совсем не интересовались учениками и избегали всякого общения с ними».

Иначе и не могло быть в условиях разгула черной реакции во всей империи и, в частности, в академии «вольных художеств». После взрыва народовольческой бомбы под императором Александром II на царский трон поднялся Александр III: вместо двух палок над головой борцов за свободу поднялись три. Вот и вся разница. Как отмечал Чехов, люди «боялись громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боялись помогать бедным, учить грамоте». Так свирепствовала самая мрачная, самая черная реакция.

Из всей академической профессуры особой любовью студентов пользовался адъюнкт-профессор Павел Петрович Чистяков, известный художник и прославленный педагог — воспитатель большой плеяды корифеев искусства. Он не был похож на тех «генералов» в мундирах, которые наводили страх на академистов, и откровенно выступал против полицейских порядков в академии, упрямо насаждал свою систему воспитания художников-реалистов. За это ученики уважали, ценили и любили Чистякова. И не случайно считали счастливым того, кто попал в его класс.

— Повезло, здорово повезло тебе, Хетагурчик! — с завистью поздравляли Коста знакомые, когда он был определен в класс гипсовых голов и фигур, которым руководил П. П. Чистяков. Рад был и сам Коста своему счастью. О Павле Петровиче он знал многое от своего первого учителя — Василия Ивановича Смирнова, воспитателем которого в академии был Павел Петрович. И не только Смирнов — чистяковскую академию прошли Репин, Суриков, Серов и многие другие известные художники.

Разбирая на занятиях работы учеников, рисовавших ангелов, Чистяков говорил о них с иронией:

— Жизнь искусства вы ищите в небесах, а она на земле ходит. Ангелы хороши, а людская жизнь куда краше и интереснее! Вот она-то, жизнь, и есть главный предмет искусства!..

«Браво, Павел Петрович! И я так думаю!» — едва не во-

скликнул Хетагуров, но сдержался. На предыдущих занятиях ему изрядно надоело срисовывать не трогавшие его сердца античные гипсовые фигуры. Жизнь! Как настойчиво она просится на полотно художника! Перед его мысленным взором встали степные просторы, горные ущелья, шумные пенящиеся реки, нависшие над ними и подпирающие небо вершины Кавказа, колоритные фигуры казаков и горцев, мудрых старцев-сказителей, женщин и детей, образы легендарных нартов.

А с кафедры продолжал звенеть и волновать души голос высокого, плотного пожилого человека с орлиным носом и поседевшей бородкой в обыкновенном темном костюме. Павел Петрович говорил громко, горячо, твердо. На большом выпуклом лбу его то сходились, то расходились резкие морщины. В аудитории чадили керосиновые лампы, но слушавшие профессора ученики даже не замечали, как наполнялась аудитория ядовитым угаром. Склонившись над листами бумаги, они скрипели карандашами. Зажатый со всех сторон товарищами и пристроивший свою тетрадь на спине впереди сидящего, Хетагуров старался записать каждое слово мудрого учителя. Надышавшись чадным дымом, профессор иногда замолкал и длинными сухими пальцами тербил бороду. Такие паузы нравились Коста: он успевал записать сказанное учителем.

— Жизнь не шутка, — продолжал Чистяков, подробно разбирая чью-то неудачную работу. — Шалить нельзя. Жизнь — долг и искусство своего рода... Всмотритесь в картины Перова, Брюллова, Иванова...

«Браво, Павел Петрович, браво!» — Коста опять захотелось крикнуть ему от души, одобряя его мысли. Но не решился помешать профессору.

— Стойкость и постоянство в человеке... всего дороже. Мы пришли жить на землю, задача наша — жить хорошо. Но чтобы жить, нужно знать, где ты живешь, где находишься, и нужно бороться, бороться и победить!..

«...Нужно бороться, бороться и победить!» — жирно подчеркнул Коста эти слова профессора и повторил их мысленно несколько раз. «Золотые слова! Без борьбы — нет жизни!»

После занятий Коста, окрыленный новыми мыслями, вышел на берег Невы — здесь было легче дышать. Он повторил понаравившиеся ему строки из некрасовского стихотворения «Поэт и Гражданин», которые услышал сегодня из уст Чистякова:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Подойдя к одному из сфинксов, застывших на берегу, Коста потрогал его рукой и, перефразируя некрасовский стих, заговорил со сфинксом, как с живым:

— Прав старик: художником можешь не быть. Но гражданином... гражданином быть обязан... Точно! Надо запомнить этот девиз на всю жизнь! И как много еще надо, чтобы стать и гражданином, и художником!

Забыв об ужине, Коста пошел в скульптурный класс Чистякова.

В опустевшем классе его встретил сонный служитель и хмуро посмотрел на него:

— Чего тебе, молодой господин, в такой неурочный час?

— Идея обуревает, дяденька, хорошая идея! — ответил Коста.

— Чего, чего? Какой недуг одолевает, говоришь? — недовольно пробурчал тот.

— Лепить хочу, лепить. Понял? — сказал Коста и сунул в руку служителя два пятиалтынных. — Глину мне, глину!

— Да ведь приготовить надо-с, — оживился тот. — Что будете лепить-то?

— Не скажу, старина, сам увидишь, что буду лепить, — ответил Коста и, улыбнувшись, добавил: — Мяукающая кошка мышей не ловит, говорят осетины. Понял меня?

— А к чему так говорят?

— К тому, старина, что делать надо, а не болтать. Дело сделаешь — все увидят...

Пока Коста подыскивал себе удобное место, служитель притащил мешок с глиной.

В неопытных руках Коста глина сначала расползлась. А когда он нашел верные пропорции, работа оживилась, начали вырисовываться контуры задуманных фигур.

Увлечшись сложной композицией, Коста приходил в скульптурный класс почти каждый вечер, и «Горцы» оживали на глазах. На переднем плане — мужчина в черкеске с густыми нахмуренными бровями, в его поднятой вверх руке застыла обнаженная шашка. А другие фигуры — кто с косой, кто с топором или вилами — словно рвались вперед, в решительную

схватку. Один из горцев стоял с раскрытой книгой в руках. Этим автор подчеркивал, что путь к счастью — не через стихийный бунт...

В один из вечеров, придя в класс, чтобы завершить работу, Коста не застал на месте своего детища. К нему подошел служитель и тихо сказал:

— Их высокородие инспектор приказали убрать ваших бунтарей и выбросить в мусор. К чему, говорит, тут дикарей лепят? «Кто лепил? Кто позволил? — кричал на меня инспектор-то. — Разбить, разбить и... в мусор!» А мне их жалко стало: сколько потов ты на своих мужиков-то пролил! Вот я и...

— Что? Ты их разбил? В мусор выбросил? — не выдержал Коста и чуть не закричал со злости на служителя.

— Не-е-ет, батюшка, не-е-ет, — протянул он. — Сберег их на свой страх и риск. С вашей милости на чаек причитается... И забирай-ка их к себе, батюшка. Авось пригодится, да и память недурная!

* * *

«Литературно-музыкальный вечер» был назначен на субботу в одном из клубов за Охтой. Его подготовкой занимались Саид, Ислам и Андуканар. К организации и проведению таких вечеров Коста всегда был равнодушен и обычно принимал в них горячее участие. Но на этот раз Андуканар не разрешил участвовать в организации вечера, Коста должен был только читать стихи любимых поэтов.

Коста шел на вечер, не зная, что там будет. На дворе морозно. На улицах снежные сугробы. Коста остановил извозчика в огромном овчинном тулупе и вскочил в экипаж.

В фойе клуба Коста застал много разношерстных питерцев. Здороваясь со знакомыми, он обратил внимание на толпившихся у средней стены земляков. Коста подошел к ним поближе. Через головы любопытных он увидел свои эскизы, а под большой керосиновой лампой, освещавшей фойе, на высокой тумбе — скульптурную композицию «Горцы». «Черти! — с досадой подумал он, — хоть бы предупредили, что будут выставлять мои опусы на обозрение публики». Но тут кто-то обнял его сзади за плечи. Он оглянулся. Это был Андуканар. Он быстро заговорил, не дав Коста и слова сказать:

— Не злись, братец, это я притащил сюда твои творенья. Пусть знают нашего брата! Пусть знают, что и у нас будет свой художник! Первый художник-осетин! Здорово звучит, не правда ли, братец?

— Звучит-то здорово: «Первый осетин — художник, скульптор!» Но где он, где? Ты, брат, в конфуз меня загнал, неудобно мне перед почтенной публикой. Разве можно выставлять на обозрение ученические полуработы!

Но Андучапар взял Коста за локоть и отвел в угол, где никого не было, и начал выговаривать:

— Ты что расшумелся, братец? Видишь, с каким интересом люди рассматривают твои «опусы»? Значит, нравятся! Вот это-то и хотел я узнать: есть толк в твоей учебе в академии или нет. Теперь я вижу, что не зря ты штаны протираешь в академии. Вижу и то, что недаром ты переводишь двадцать пять рублей стипендии. Да, не зря! Вижу, братец, что раскрывается талант художника. Вот так-то, братец!

— Талант, говоришь? — поморщился Коста. — Какой у меня талант! Посмотришь на моих однокашников, — чуть подумав, продолжил он, — на того же Валентина Серова... На Врубеля... На Самокиша или Ционглинского... На Костанди или Дубровского... Вот таланты! Вот им-то я и завидую по-хорошему, брат. Сам Чистяков радуется их таланту! А я что против них?

— И ты не отстанешь от лучших, вот увидишь, — подбадривал его Андучапар. — Я слышал, что ты, братец, будешь участвовать в академической выставке. Это правда?

— Настаивает на этом Павел Петрович, — потупил глаза Коста. — А я пока не смею: уж куда мне, зайцу, с медведями груши сбивать с дерева — не то что груши, а сухого листка мне не достанется...

— Не робей! Не «сухой лист», а может, и медаль заработаешь, чем черт не шутит, — убеждал его Андучапар.

Коста хотел ему возразить, но помешал Ислам Крымшамхалов, хлопнувший Хетагурова по плечу:

— Салам алэйкум! Поздравляю, дружище! Ну, скажем прямо: пять баллов тебе за такие работы!..

— Не криви душой, Ислам! — прервал его Коста. — Какие там пять баллов!..

— Тише, друзья: сама княгиня пожаловала к нам, — тихо сказал Андучапар и пошел навстречу ступавшей легкими шага-

ми по ковровой дорожке молодой княгине, благосклонно улыбавшейся знакомым землякам.

Повернулся к ней и Крымшамхалов, оправив на себе щеголеватую светло-серую черкеску. Не удержался и Коста от соблазна поближе подойти к княгине, чтобы запомнить черты ее смуглого красивого лица. Она была одета в нарядное шелковое платье, в ушах и на шее сверкали дорогие камни. Ее сопровождали два молодых офицера в темных черкесках и блестящих сапогах. Княгиня Софья Тарханова, кивком головы поздоровавшись с земляками, прошуршала мимо них и подошла к скульптуре.

— Княгиня Тарханова интересуется твоими работами, — шепнул Ислам на ухо Коста. — Душевная она и щедра к нам, землякам. Словом, меценатка!..

— Вы выступаете первым, господин Хетагуров, — сказал подошедший к Коста распорядитель вечера. — Вы готовы?

— Готов! — ответил Коста, продолжая следить за княгиней, которая внимательно разглядывала скульптуру. Она то приближалась к скульптуре, то отступала на шаг, и офицеры почтительно стояли возле нее, словно охрана.

— Почему они такие злые? — спросила княгиня довольно громко, так, что Коста расслышал ее слова. — И на кого это он замахнулся шашкой?

— Плебейство... — с готовностью отозвался один из офицеров. — Право же, это не заслуживает вашего внимания. Взгляните лучше на портрет. Кажется, недурен!

Княгиня взглянула на портрет.

— Плебейство, говорите? А что ж, пожалуй, верно. Но художник этот — человек, несомненно, одаренный. Кто он? — спросила она Саида.

— Я представлю его вам, дорогая, но позже. Прошу в зал!..

— Зачем вы пригласили их? — раздраженно спросил Борисов у Андукапара. — Студенческий вечер — и вдруг княгиня!

— Мы бы рады не приглашать, — виновато вздохнул Андукапар, — но... Люди они богатые, не пожалели денег для бедных студентов. Как не позвать?

— Не понимаю! — буркнул Борисов. — Неужто и вольный дух студенчества покупается за деньги?

Андукапар пожал плечами и отошел. Подобные разговоры не следовало вести здесь.

Вступительное слово произнес Городецкий. Он говорил о пользе образования для горцев, о благородной цели нынешнего вечера, сбор от которого пойдет в фонд бедных студентов. После него на сцену вышел Коста.

В зале было полутемно, однако взгляд его сразу остановился на княгине Тархановой. Она сидела в первом ряду. Длинными пальцами Коста провел по своим иссиня-черным волнистым волосам и, явно волнуясь, начал читать:

Опять один, опять суров.
Лежит — и ничего не пишет.

Он отыскал глазами Борисова и увидел, как тот кивнул ему, словно одобряя. И сразу появилась уверенность, голос окреп, зазвучал во всю силу:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденья, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь недаром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

«Сумасшедший! — шептал про себя Андуканар, закрыв от волнения глаза. — Накличет на себя беду! Что с ним делать? Уастырджи, помоги!»

Коста читал с такой страстью, что казалось, это были его собственные строки, родившиеся только что, вот на этой трибуне.

«Похоже, что на него можно положиться, — думал Борисов, слушая Коста. — Только слишком он неосторожен, неопытен еще...»

А княгиня не сводила с Коста огромных блестящих глаз, в которых отчетливо читалось и восхищение его смелостью, и возмущение — дерзостью.

— Н-да-а, — тихо заметил один из офицеров, — эдак-то они бог знает до чего договорятся...

— Это стихи господина Некрасова,— брезгливо пояснил другой.— Да к тому же запрещенные цензурой. Вот ведь, истинно дикари!

Но княгиня бросила на своих соседей такой ледяной взгляд, что оба поняли: желая угодить красавице, они явно перестарались. Коста между тем продолжал:

А ты поэт! Избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что неимуший хлеба
Не стоит вещей струн твоих!..

Студенты проводили Коста одобрительными возгласами. Андукапар не выдержал и побежал за кулисы.

«Неужели Коста не понимает, что в зале сидят шпики и о его поведении завтра же будет известно в Академии художеств?» — в отчаянии думал он.

А студенты всё вызывали и вызывали Коста, требуя, чтобы он читал еще.

— Не смей, слышишь, не смей! — зашептал Андукапар.— Себя не жалеешь, о старом Леване подумай! С каким трудом отправлял он тебя в Петербург! Я старший, я не позволю!

Коста, зная бешеный нрав брата, решил: «Нет, на этот раз я тебе, брат, преподнесу такой сюрприз, о котором ты и не думал!» — вышел на сцену.

— Господа, по просьбе Хетагурова-старшего я прочитаю его самое любимое стихотворение — «Пророк» господина Пушкина.— И его взгляд на секунду остановился на переднем ряду, где сидели княгиня и офицеры. Коста продолжал:

... И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул...

В зале замерло все. Княгиня не сводила с Коста глаз и про себя думала: «Какая смелость! Такого нельзя не запомнить!»

Когда Коста закончил чтение, в зале многие приподнялись и дружно зааплодировали. Коста заметил, как поморщились

офицеры, а княгиня одобрительно захлопала в ладоши. Вместе со всеми поднялся и Андукапар и, уставившись на сцену, пытался дать понять Коста, чтобы тот прекратил чтение. Но Коста был верен себе и, будто он понял выразительный взгляд брата как: «Хорошо, продолжай!» — принялся читать лермонтовского «Поэта».

Снова прокатились по залу аплодисменты.

Затем Саид объявил:

— А сейчас, уважаемые господа и дамы, вы увидите отрывок из пьесы «Поздний рассвет», сочинение одного студента-кавказца. Правда, артистов у нас в землячестве маловато. Прошу у публики снисхождения. Итак, внимание! Идет акт из «Позднего рассвета»!

Коста, сидевший в зале, замер. Как же так? Он еще не закончил своей пьесы да и вообще никому не хотел ее показывать, а Саид тайно от него уже вытащил ее на сцену.

Отрывок из пьесы, показывающий жизнь ищущей и дерзающей молодежи, студенты разыгрывали без грима, без декораций, на маленькой тесной сцене.

Знакомый Коста студент-литератор играл роль главного героя пьесы Бориса, который страстно и гневно обличал власть имущих, порывал со своей семьей и с пафосом заявлял, что он всю жизнь будет служить народу.

Коста сидел опустив голову: ему было неловко за многие наивные места своей пьесы. Но когда представление закончилось, публика разразилась аплодисментами и стала требовать автора. Саид, уже занявший сцену, чтобы объявить следующий номер, встретился взглядом с Коста. Тот сделал ему знак молчать.

— К сожалению, автор пожелал остаться неизвестным, — торопливо сказал Саид и объявил следующий номер.

С вечера Коста уходил вместе с Андукапаром и Борисовым.

— «Автор пожелал остаться неизвестным», — насмешливо заметил Андукапар. — И ты думаешь, земляки не догадались, что ты и есть сочинитель и пьесы и стихов?

— Я не стал бы скрываться, — признался Коста. — Но пьеса, к сожалению, не доделана, просто мне было неудобно.

— Ну, братец мой, и горячая же ты голова! Уж не думаешь

ли ты идти вслед за своим Борисом в подполье, служить народу?

— Пока еще нет, — усмехнулся Коста. — Надо сперва академию закончить.

— Послушай, я тебе как родной советую, — наставительно заговорил Андукапар. — Брось ты свою писанину и артистические выступления. Ну зачем тебе понадобилось сегодня читать «Пророка» и «Поэта»?

— Да как же, дорогой, нам без Пушкина жить, без Лермонтова, без Некрасова!.. Это все равно что родного Кавказа не видеть, его гор, рек, ущелий!..

— А знаешь ли ты, упрямец, что завтра же начальство академии будет знать, как ты сегодня выступал на вечере... И про пьесу твою им все станет известно. Это тебя не тревожит?

— Эх, Андукапар, брат мой! — тряхнул головой Коста. — Есть у русских хорошая пословица: «Волков бояться — в лес не ходить». Значит, не ходи в лес, не добывай дров, не готовь пищу. Опасно, мол. В лесу волки! Подыхай, значит, от холода и голода. Так, что ли, ты мне советуешь? Нет, брат мой! От жизни не спрячешься, в тихом углу не отсидишься. Павел Петрович Чистяков так говорит: «Нужно жить, бороться и побеждать!» Я вот двадцать четвертый год по земле шагаю, и мне эти слова по душе! И буду за них держаться... Доктор, и тебе я советую подумать кое о чем.

— Ты еще сам должен учиться, а не других учить! — продолжал ворчать Андукапар.

Друзья дошли до Литейного проспекта. Коста должен был идти прямо — на Васильевский, Борисов и Андукапар — на Выборгскую, где они жили неподалеку от Военно-медицинской академии.

— Вот тебе деньги, поезжай на извозчике, — строго сказал Андукапар и сунул Коста двугривенный. — Закоченел совсем...

— Смелый парень! Откуда он у вас такой, Андукапар? — спросил Борисов, когда Коста ушел от них.

— А кто его знает! — недовольно махнул рукой Андукапар в ответ. — Пытливый он у нас, да и память у него феноменальная: раз услышит стихи или легенду — на всю жизнь запоминает. Вот и наслушался он от старцев сказаний об осетинских нартских богатырях, знает и народные песни о легендарных героях Чермёне — борце против алдар, о Хазби́ и многих, мно-

гих других смельчаках. И не только выучил все это, но распевает их везде...

— И подражает героям из народа? — прервал его Борисов.

— Да, берет с них пример смелости и храбрости...

— Так это же хорошо, Андучапар, очень хорошо! Когда молодой человек берет самое лучшее у своего народа и закаляет себя, подражая беззаветным героям, по их примеру лепит свой характер, это чудесно! — одобрил Борисов.

— Да, это похвально, — согласился Андучапар. — Но в наше время это и очень опасно... И мне приходится держать его в узде, как ретивого коня. Иначе бы Коста со своими воззрениями и действиями давно сплел бы себе железную решетку. Он не может смириться с тем, что общество разделено на два противоположных полюса: на одном — ничтожная кучка людей утопает в роскоши, а на другом — весь народ, и гибнет бесправный, в нищете. А Хетагурову подай свободу, равенство и братство! Вот его девиз. А что он один может сделать?

— А почему вы думаете, Андучапар, что он один? — понизив голос, спросил Борисов. — Много на Руси борцов за свободу и равенство между людьми...

— Так-то оно так, и он недавно ответил мне так же, когда мы опять заспорили, — прервал его Андучапар. — А потом засыпал меня выдержками из трудов Герцена и Белинского так убежденно и основательно, что я ничего ему не смог возразить.

— Интересно, что же он цитировал из Белинского-то?

— А вот что: «Россия есть страна будущего. Россия в лице образованных людей своего общества носит в душе своей непобедимое предчувствие великости своего назначения, великости своего будущего...» Вот так! Я даже не знаю, в каком труде он это вычитал у Белинского и запомнил наизусть.

— Молодец твой брат Коста: глубоко пашет. Будет у него богатый урожай на ниве! И учителя у него, надо сказать, достойные: Герцен, Белинский, Некрасов, Чернышевский... Надо бы ему и Плеханова серьезно почитать...

— Читать он читает, и не просто, а вдумчиво, — смягчился Андучапар. — Но кто знает, к чему приведет его такое чтение. Пока известно одно: с пренебрежением относится он к некоторым предметам, изучаемым в академии. Беречь его надо, беречь! Упрямя он, горяч, и губит его вольнодумство...

— Вы правы, Андучапар, — согласился Борисов. — Молод он

еще и режет напрямик. Но учится Коста у верных учителей, и это очень отрадно. Фундамент под ним заложен крепкий. И фундамент тот называется — вера в силу народа, вера в победу справедливости, вера в тех, кто отдает всего себя борьбе за счастье и свободу народа. Веру эту в нем основательно укрепил прогрессивный Петербург. И в этом его счастье!

5

Четыре года, которые Хетагуров провел в столице, были годами дерзания и горения, упорной битвы за глубокие знания, годы эти были годами становления Коста — верного ученика русских революционных демократов, Коста — художника-реалиста, Коста-писателя.

В последние годы пребывания в Петербурге Коста написал поэму «Чердак». Она создавалась в период поражения народников, когда часть либерально настроенной интеллигенции отказалась от идей революционного народничества и проповедовала мещанский индивидуализм. Поэма во многом автобиографична. В размышлениях ее героев отразились вопросы, которые стояли перед молодым писателем, — о смысле и назначении человеческой жизни, о месте человека в борьбе за новую жизнь, о судьбах родины. Коста решал эти вопросы прежде всего для себя, вот почему прежде всего так «обнажена» проблематика поэмы.

Герой поэмы — Борис — после окончания гимназии приезжает в столицу. Стремясь быть первым в своем окружении, чем-то выделиться, он отказался от «идей высоких» и стал проповедовать эгоизм, отрицание всего святого, всех и всяческих идеалов. Ему предстоял выбор — либо отказ от своих убеждений, либо вступление на защиту своих взглядов и, естественно, конфликт со своей средой. Не решаясь выбрать один из путей, Борис мучительно переживает свои сомнения. Он отстаивает свою правоту в споре с коллегой, выразительно охарактеризованным автором как Гришка-болтун. Не убедив его и твердо намериваясь доказать свою правоту, Борис отправляется на вечеринку, чтобы здесь найти себе поддержку. Ни студенты, ни любимая девушка не сочувствуют его новым взглядам. В отчаянии Борис выпивает яд.

Глубокий исследователь творчества Хетагурова Н. Г. Джусойты убедительно доказывает, что это далекое от художественного совершенства произведение важно прежде всего как «отражение духовной биографии, идейных поисков Коста тех лет в судьбе и мировоззрении главного героя поэмы представляет немаловажный интерес для уяснения картины идейного формирования поэта».

Поэма «Чердак» представляет несомненный интерес еще и потому, что позволяет судить о направлении художественных поисков Коста. Манера его сатирического письма явно созвучна некрасовской, но в целом стиль повествования ближе к пушкинскому и лермонтовскому. Иначе говоря, с первых шагов своего литературного творчества Коста следовал традициям русской реалистической литературы, верность им он пронес через всю жизнь.

* * *

В годы учебы в Академии художеств Коста был душой северокавказского землячества. Друзья любили и почитали его, произведения Коста расходились в списках...

Но академическое начальство считало таких воспитанников «вольнодумцами», а они встречались чаще всего среди разночинцев. Устав Императорской Академии преграждал путь в мир искусства таким, как Хетагуров, не имевшим дворянского звания. Талантливым юношам из низших сословий, которым все-таки удалось попасть в число слушателей академии, приходилось особенно тяжело: их наказывали и исключали за малейшие проступки. От них строжайше требовали сдавать все экзамены в установленные сроки.

И вот 20 октября 1883 года собрался ученый совет академии во главе с ее глухим ректором Иорданом. На дворе морозно. Но огромный кабинет натоплен жарко, дров не пожалели. В тяжелых кожаных креслах разместились члены совета — профессора в мундирах, расшитых золотыми галунами. В простом штатском костюме был только один профессор Чистяков. Впрочем, он не был членом совета и потому мог позволить себе эту вольность.

Огромный дубовый стол под зеленым сукном был завален личными делами воспитанников академии.

— Итак, господа, — торжественно провозгласил конференц-секретарь Исеев, ревностный блюститель жандармского режима в академии, — итак, за последние два года мы выполнили повеление его императорского двора...

— Ближе к сути дела, господин конференц-секретарь! — раздался спокойный голос Чистякова, который, сидя в углу, перелистывал какой-то журнал.

Исеев метнул на него негодующий взгляд и продолжал:

— Я всегда считал своей обязанностью поддерживать мнение моего начальника и исполнять буквально его приказания, хотя бы то и другое было противно моим убеждениям. Что бы я ни думал... Я буду всегда поддерживать официальное направление. Итак, господа, мы избавили академию от неблагонадежных — это первое. Затем мы закрыли двери для молодежи сомнительного происхождения и для тех, кто не окончил гимназии. Это — второе. И, наконец, третье: в стенах академии не осталось ни одного женатого воспитанника, женатых и впредь мы не станем принимать.

Послышался суховатый, едкий смешок Чистякова, однако Исеев сделал вид, что ничего не заметил, и заговорил громко:

— Отныне категорически отвергаются прошения о приеме в академию лиц слабого пола. А для девиц, которые уже учатся в академии по протекции высокопоставленных лиц, установлены особые часы занятий. Это — четвертое. Но главное, чего мы добились усердными нашими трудами, — это то, досточтимые господа, что воля его величества выполняется неукоснительно... Ровно год пазад мы получили высочайшее повеление очистить академию... Итак, господа, продолжим. Предлагаю просмотреть личные дела воспитанников, за которыми замечено... — Исеев взглянул на стол, заваленный папками. — Надеюсь, вы меня поняли? — И с презрительной гримасой на холеном лице он взял со стола дело...

— Вот, господа, к примеру, Хетагуров Константин, — тут конференц-секретарь насмешливо глянул на Чистякова. — В чем классе он пребывает?

— Кто-кто? А-а! Хетагуров! — словно проснулся ректор академии Иордан, которому давно уже все было безразлично.

— Хетагуров — мой ученик, — не поднимая глаз на Исеева, холодно сообщил Чистяков, хотя внутренне насторожился.

— Так вот, милостивый государь Павел Петрович, — под-

черкнуто вежливо проговорил Исеев, листая дело. — Характеристика о благонадежности отсутствует. Игнорировали непременное требование президента. А ведь какое время мы переживаем, господа! Нельзя-с так! Нет подлинного документа о его дворянском происхождении...

— На это есть инспектор, господин конференц-секретарь! — заметил Чистяков. — Мое дело — обучать, а ваше — проверять...

— Вот мы и проверили. И выяснилось, что Хетагуров не сдал в установленные сроки экзамены по некоторым дисциплинам, как-то: по истории и... — Исеев нервно листал дело.

Воспользовавшись паузой, заговорил инспектор Черкасов.

— Константин Хетагуров не окончил гимназии, — сообщил он. — Поведение его весьма неблагонадежно. Он был задержан минувшей весной возле снарядных складов и доставлен в жандармское управление. И хотя допрос и обыск ничего предосудительного не показали, однако же... На студенческих вечерах он выступает с чтением недозволенных стихов...

— Позвольте, позвольте, господа! — не выдержал Чистяков и поднялся с кресла. — Хетагуров — одаренный юноша! Уже два года он у меня занимается и, должен сказать по чести, — превосходный молодой человек. Талантлив, весьма талантлив! Вы же сами, господа, на последнем экзамене по живописи выставили ему «17». — Чистяков обвел взором безразличные лица членов совета. — А «17» — оценка, которая редко кому ставится. Юноша талантлив, у него большое будущее, не так ли?..

Профессора молчали.

— Что, господа? Разве вам нечего возразить Павлу Петровичу? — язвительно спросил Исеев. — Хетагуров действительно талантлив, но как пропагандист!.. Своих дикарей-горцев он тоже, надо сказать, изображает неплохо. Его скульптуру, где на первом плане черкес с обнаженной шашкой, инспектор приказал немедленно выбросить из стен академии, но студент Хетагуров дерзнул выставить ее в кавказском землячестве! А против кого обнажают его горцы свои кинжалы и шашки? Об этом вы подумали, Павел Петрович? — Исеев откашлялся и, прищурившись, посмотрел на Чистякова — тот продолжал рассматривать журнал, будто весь этот разговор его решительно не интересовал.

— Господа, зачем тратить время, — вмешался ректор. — Следует поступить по уставу.

— Истинно! — обрадовался Исеев. — Существует в нашем уставе параграф тридцать первый: не сдал экзамены в срок — исключить! Не так ли, господа члены совета? — подчеркнул Исеев, давая этим понять Чистякову; что, не являясь членом совета, он не имеет права голоса, а потом добавил: — Поступим, господа, по уставу: исключить...

* * *

Весть о нанесенном Хетагурову тяжелом ударе быстро облетела его друзей-одноклассников. Разделяя его горе, каждый из них с глубоким вздохом выражал ему свое сочувствие. «Не покидай, Коста, академию! — в один голос, словно сговорились, советовали они ему. — Ходатайствуй об оставлении тебя вольнослушателем... Нельзя тебе терять дар художника, нельзя! Мы знаем: ты уже художник!.. На академических выставках тебя заслуженно награждали медалями!..» — «Рад бы был остаться в академии и вольнослушателем, очень рад! — отвечал им Хетагуров. — Но сие от меня не зависит... Решает мою судьбу начальство...»

Поблагодарив друзей-одноклассников за сочувствие и советы, Коста пошел бродить по городу. Он мучительно думал о своей дальнейшей судьбе. Его трясло, словно от приступа лихорадки, ноги его не слушались, кружилась голова. А тут еще свирепствовал ветер, холодный, колючий, мел пыль и мусор с улиц, с остервенением колот лица прохожих, срывал с плеч Коста черную бурку, и полы ее трепетали в воздухе, словно крылья подбитого и падающего в пропасть орла.

Он остановился посередине чугунного моста через Неву и, поплотнее закутавшись в бурку, облокотился о холодные перила. С глубоким вздохом он глянул на бушевавшие волны могучей реки. «Волнуется Нева, как сердце мое в израненной груди!» — подумал Коста.

Петербургский осенний ветер продолжал рвать тучи в клочья и швырять их по небу. В мутных облаках поблескивал купол Петропавловской крепости. Коста остановил на ней взгляд и с содроганием прошептал про себя: «Сколько, сколько крови лучших людей империи пролито на цементные полы и холодные стены ее темных, как могила, казематов!.. Не сосчитать, сколько закованных в кандалы стойких борцов было отправлено из ее

камср в Сибирь на вечную каторгу!.. Какими они были мужественными в борьбе за справедливость и народное счастье! С какой отвагой они выдерживали и выдерживают муки каторжника! Никто из них, убежденных борцов за дело народа, не дрогнул даже перед виселицей... А я?.. Кто же я? Чего я так раскис? Отчего так растерялся? Или трудностей я никогда не видел и не испытал за свою короткую жизнь?.. Как я мог дойти до такой гнусной мысли — броситься в Неву и задохнуться в ее злых волнах, оборвать свою жизнь, когда впереди — необъятные просторы жизни, борьбы и труда?» — осенила его другая мысль, и он вслух прошептал:

— Когда тебя постигнет горе, ты вспомни лишь народ, — среди его невзгод твои страдания — капля в море... Народ! Вот кому мы нужны! А начальство? — Тут он вспомнил брошенные Павлом Петровичем Чистяковым в лицо академическому начальству слова: «Гниль гнилью и останется!» И из-за такой гнили лишать себя жизни? Нет, нет и нет! Да и, в конце концов, суть Академии художеств не в этой гнили: не утонули же в ней ни знаменитый Репин, ни другие корифеи русского искусства... Или вот он, сердечный мой старший друг Верещагин, как здорово он ответил этой академической гнили: «...Я, считая все чины и отличия в искусстве безусловно вредными, начисто отказываюсь от этого звания...» Да, да, он отказался от звания профессора живописи, которое ему присвоил совет академии! И не просто, а всенародно, опубликовав заявление об отказе в газете «Голос». Ой, как начали травить и поносить Верещагина за это в светских салонах и на страницах черных газет!.. А какое блестящее поколение идет за Репиным и Верещагиным! Вот опять же мои однокашники — Валентин Серов, Михаил Врубель, Самокиш!.. Такие не задохнутся в академической гнили: их ведет Чистяков! А «гниль гнилью и останется» до той поры, пока не сметет ее волна народного гнева...»

6

— Эх, мне бы закалку и силы легендарного нарта Батрадза! — с глубоким вздохом сказал Коста, узнав в канцелярии об отказе ему выдать билет на право бесплатного посещения лекций в академии. Он знал, что начальство, прежде чем отве-

тить ему на его прошение, запросило петербургского градоначальника о поведении и имущественном состоянии Хетагурова. Градоначальник начертал на гербовой бумаге, что «вольнослушатель сей академии Хетагуров, 23 лет от роду... имущества у него, кроме носильного платья и белья, другого никакого нет, состояние крайне ограниченное, имеет отца, отставного подпоручика милиции, 76 лет... который воспитывать детей па собственный счет не может». К этому официальному ответу был приложен еще и узкий длинный голубой конверт. Но что в нем было, знал только лишь начальник.

У Хетагурова оставался один-единственный выход — самому зарабатывать на хлеб и продолжить занятия в академии на правах вольнослушателя. Так он и сделал: устроился грузчиком в Невском порту, разгружал и грузил на пароходы купеческие товары, а потом бегал в академию на занятия. Жил он впроголодь, на чердаке в одном из старых, гнилых и покосившихся домов на Васильевском острове.

Но и теперь, как бывало раньше, он выкраивал время пойти в лес или куда-нибудь на берег Финского залива и писать с натуры, делать наброски будущих картин.

...И вдруг встреча, как казалось Коста, самая приятная из всех встреч в его жизни. Было это в воскресный день на Семеновском плацу, там, где были казнены народовольцы. В тот день здесь никого не было. Один городской топтался на месте — видимо, сам не зная, от кого он охраняет печально известный совершенно пустой плац. Постояв немного, Коста решил идти дальше, поискать более подходящее место для рисунка. Но вдруг он заметил на противоположной стороне человека с длинной бородой. Осматриваясь вокруг, человек время от времени что-то быстро зарисовывал в большом альбоме. Заметив городского, бородач быстрыми шагами пошел ему навстречу.

«Верецагин! Дорогой Василий Васильевич!» — узнал его Хетагуров. Художник кивком головы небрежно поздоровался с городовым, и они о чем-то заговорили. Городовой показал рукой на то место, где стояли виселицы, и оба направились туда.

— На качели-с похожи, — услышал Коста угрюмый голос городского. — А войска расположились полукругом вот так... — Городовой рассказывал художнику подробности казни. — Народу собралось столько, что конная жандармерия с трудом удерживала лавину любопытных... Так надобно было им, злодеям! —

закончил очевидец казни рассказ и заискивающе глядел на художника в ожидании щедрых чаевых.

— Никто на свете не рождается злодеем, неразумные основы общества толкают некоторых на жестокость,— тихо сказал Верещагин и сунул монету в протянутую руку городского. А потом снова взялся за альбом и карандаш.

Коста не знал, как ему поступить. Опасаясь, что сможет помешать большому художнику в момент работы, он не решался подойти поближе и первым заговорить с ним. Постояв в нерешительности, он повернулся и собрался было уходить. Но тут его торопливо окликнули:

— Минуточку, юноша... Мы, кажется, знакомы с вами. Хетагуров?

— Да, Хетагуров.— Коста нерешительно подошел к Верещагину: — Здравия желаю вам, Василий Васильевич!

— Не узнал я вас, не узнал, простите,— протянул Верещагин натруженную руку. — Вы так изменились, так похудели, что с первого взгляда вас и не узнать. Отчего же, друг мой, так? Красавец был осетин, и вдруг такой бледный, утомленный...

Коста от волнения словно утратил дар речи. А Верещагин, автор картины «На Шипке все спокойно!» взволновавшей русское общество, художник, чье имя прогремело после русско-турецкой войны, хорошо знавший и любивший Кавказ, продолжал:

— Хетагуров, кажется, вы из потомков Хетага? О, я помню волнующую легенду о нем! Во время странствий по Кавказу довелось увидеть мне кушу Хетага. Прелесть! Помните предание, как она вырвалась из середины дремучего леса у горных вершин, приземлилась в степи и прикрыла своей могучей кроной Хетага от преследовавших его князей-кровников?

— Не только легенду, но и потомков самого Хетага в народе хорошо помнят и почитают,— с застенчивой радостью ответил Коста.— А «Куца Хетага» и до сей поры украшает у нас Куртатинскую долину...

...Дружба между известным художником и молодым горцем, зародившаяся в Петербурге, продолжалась всю жизнь.

В эти дни Верещагин работал над картиной «Казнь через повешение в России». Но он находил время для встреч и бесед с интересными для него людьми, охотно встречался с

Хетагуровым, иногда их беседы длились часами. Верещагин любил слушать рассказы молодого Коста, хорошо знавшего историю, быт, нравы своего народа, чарующую природу родного края.

Коста был замечательный рассказчик: он мог так нарисовать словами и портрет горцев, и кавказские пейзажи, что Верещагин будто вновь переносился в горы любимого им Кавказа.

— Так, молодой мой друг, вы родились и воспитывались в каскаде потрясающих душу легенд! — с восхищением сказал Верещагин, после того как Коста поведал ему замечательные легенды о богатырях-нартах. — Расскажите подробнее о вашем детстве. У меня оно, скажу коротко, протекло в дворянском гнезде, а потом под розгами...

Хетагуров с удивлением посмотрел на статного, обладавшего могучей силой человека, с высоким открытым лбом и густой бородкой, и, чуть подумав, осторожно спросил:

— Как вас понять, Василий Васильевич: из «дворянского гнезда» и — «под розгами»?

— Очень просто, — улыбнулся художник. — Отец мой был дворянином, помещиком, и он даже думать не хотел о том, чтобы я стал художником. В раннем детстве я скопировал рисунок с нянькиного платка — бешено мчащаяся тройка, преследуемая стайей волков... Это был мой первый рисунок. Его хвалили мать, отец, особенно нянька. Но это приняли за детскую шалость, и отец отдал меня в Морской кадетский корпус, чтобы я стал военным... А в том корпусе наказания были строжайшими: нас ставили в полной выкладке «на часы», оставляли без обеда и отпуска... Сажали в карцер... Секли розгами, часто секли... А у вас как было?

— Сравнить невозможно! — вздохнул Коста. — Ваше и мое детство друг от друга так далеки, как небо от земли. Право, не знаю, с чего же начать рассказ о моем детстве, — смущенно взглянул Коста на собеседника.

— С чего хотите, с того и начните, — сказал Верещагин, предчувствуя, что услышит от Коста забавный случай из его детства.

— Гладкие бока скал и камней покоя от меня не знали, — улыбнулся он. — Я их мазал древесным углем нещадно. Услышу новую интересную сказку или легенду и начну изображать ее главного героя на камне. А что было делать? Ни бумаги,

ни красок у нас в горах не водилось. Уголь и камень. Особенно хотелось мне рисовать богатырей — героев осетинских нартовских сказаний. Но не получались они у меня. Я мучился, злился, стирал рукавом и снова начинал. Сверстники мои хихикали, а старшие издевались надо мной, мазилой черным звали... И я забросил это занятие, когда начал ходить в школу. А жизнь у нас в Наре была сложной...

— Нар — это ваш родной аул? — прервал его Верецагин. — Какой он из себя?

— Да. Нар — родной мой аул, — ответил Коста, — он расположен на скале, у подножия Адай-хох, самой высокой горы в Алагирском ущелье, вечно покрытой ледниками. Подножие это, на котором, как ласточкино гнездо, лепится Нар, с двух сторон омывают пенистые горные реки — Зака́-дон и Ли́а-дон. Жилые постройки — сакли сложены ярусами из дикого горного камня, крыши их — плоские, глинобитные. Задними стенами саклей служат откосно срезанные скалы, окнами — дымоходы, отверстия в плоских крышах. Над аулом Нар вечным, недремлющим часовым стоит высокая почерневшая четырехгранная башня с бойницами на все стороны. Здание школы — такая же сакля, как и жилища, — размещалось в низине, на берегу Нардона. Вот в этой-то сакле-школе и произошло событие, которое заставило меня вернуться к рисованию и, наверное потому, запомнилось на всю жизнь.

Перед самой пасхой моя мачеха послала меня утром к священнику — отнести ему яйца. Было раннее утро, и я, не постукавшись, вошел в дом. И что же я увидел?! Божий помазанник сидел за столом и жадно уплетал баранину. На столе перед ним лежали сыр, масло, яйца. И это — в последнюю, самую строгую неделю великого поста перед пасхой. Если бы кто-нибудь сказал мне, что священник говорит людям одно, а сам делает другое, я бы не поверил! Потрясенный, я отдал приношение поповне, быстро повернулся и побежал в школу. В ушах у меня звучала проповедь попа: «Пост надо соблюдать строго! Не дай господи, если кто соблазнится и вкусит в пост мяса или молока. Того бог строго накажет — у грешника скривится рот и он ослепнет на один глаз... Грех, большой грех нарушать пост!»

Удивленный и пораженный ложью священника, я изобразил жеца на классной доске мелом таким, каким увидел его за

завтраком: сидит он за столом и держит в руках баранью кость, жир капает на рясу, а мальчугану говорит: «Великий пост, мальчик! Тебе нельзя — бог накажет, рот твой скривится!..»

— Штрих из живой, реальной жизни! — весело рассмеялся Василий Васильевич. — Хорошо, когда человек изображает то, что его волнует!

— Вот таким был мой первый, понравившийся мне самому и моим сверстникам, рисунок-кариатура, — повеселел и Коста. — Может быть, с того дня и потянуло меня к художеству... Но едва ли... Последствия были, скажу вам прямо, тяжелые. — Коста умолк; не хотелось ему вспоминать историю, вызванную этой злосчастной карикатурой; но Верещагин настаивал:

— А что было потом? Ведь такие «шалости» без наказания не обходятся. Как вас наказали тогда за эту карикатуру?

— Все бы обошлось, — сказал Коста, — если бы я успел стереть ее до прихода учителя. Но опоздал. Меня тут же оглушил громкий бас сзади: «По местам! Кто рисовал? Чьи это шалости?» В классе воцарилась тишина. Я не мог не признаться учителю, да и рассчитывал, что родной дядя пощадит меня. Но не тут-то было: огрел он меня дубовой линейкой сперва по щеке, а потом дал и по рукам, которые я по привычке вытянул перед ним.

— Сравнительно с розгами, которые я получал, вы легко отделались, мой друг, — добродушно улыбнулся Верещагин.

Долго еще разговаривали учитель и ученик, а на прощание Коста получил в подарок от Верещагина чемоданчик, полный красок, и этюдник на память. В ответ Хетагуров пригласил художника-друга приехать в гости в Осетию, побывать и в Наре, на его родине.

— Хочу, очень хочу еще раз побродить по Кавказу, — пожимая руки Хетагурову, ответил он. — Ваш рассказ о Наре еще больше соблазнил меня побывать у вас в гостях. Благодарю за приглашение!

7

В тот мартовский солнечный день Хетагуров-грузчик усердно поработал на погрузке мешков с мукой на купеческий пароход. К обеденному перерыву он так устал и ослаб, что с ног

валился. К тому же он был голоден. В перерыве, как заметил приказчик Синеоков, его благодетель по этой работе, Коста ничего не ел, выпил только кипятку и то без сахара. Иван Ильич знал, что студент-вольнотрушатель Академии художеств — копит заработанные в порту тяжким трудом рубли, собирает деньги, чтобы летом поехать домой на Кавказ. С тех пор как в академии Коста лишили стипендии, которую он получал за счет своих же горцев из разных штрафных сумм, он влачил полуголодное существование. Благо, что Андуканар к тому времени закончил медицинский институт и, стажуясь на врача, получал уже пятьдесят рублей. Как ни отказывался щепетильный Коста от помощи старшего, все же иногда брал у него денег на хлеб.

Синеоков в этот день не допустил к работе Коста после перерыва и отослал заниматься своими студенческими делами или отдохнуть.

Но Хетагуров не стал тратить солнечный весенний день на пустой отдых и отправился на взморье писать закат. Он медленно брел по улицам, погруженный в свои думы, и порою забывал, где он находится, куда идет, и, остановившись, оглядывался.

Вдруг кто-то резко окликнул его и над самым ухом прозвучал приказ: «Стоить!» Чья-то рука схватила этюдник. Не выпуская его, Коста оглянулся и тут же услышал: «Документы!»

Хетагуров понял, что попал впросак, и торопливо сузил руку в карман. Нащупав студенческий билет, он протянул его одному из патрульных. Только сейчас он заметил, что стоит перед длинным дощатым забором, за которым виднеются приземистые здания.

— Господин студент? Они-то и есть самые неблагонадежные, — сказал патрульный своему напарнику. — Что вы здесь делаете?

— Хотел написать заход солнца...

— А другого места вы для этого не нашли? — усмехнулся второй патрульный, маленький и кривоногий. — Именно возле снарядного склада вам надо рисовать закат?

— Простите, я не знал... Я приезжий...

— Все они ничего не знают! — грубо прервал его первый. — Следуйте за нами...

Коста понял: сопротивляться бесполезно. И, не чувствуя за собой никакой вины, послушно пошел за патрульными.

— В ящике что? — строго спросил старший патрульный.

— Краски.

— Знаем мы ваши краски! А потом бомба окажется... Нет уж, пусть на Гороховой разберутся.

На перекрестке, переминаясь с ноги на ногу, скучал городской.

Патрульные подвели к нему Коста.

— Веди на Гороховую! Студента поймали. Наверное, склады поджечь хотел! — приказал городскому старший патрульный.

Тот взял под козырек.

Путь предстоял не близкий — с Васильевского острова через Николаевский мост на Гороховую. Городской пропустил Коста вперед и молча зашагал следом.

Смеркалось. Загорались огни в окнах домов. Подул ветер, на небе засеребрился новорожденный месяц.

Коста шел, удивляясь неожиданному происшествию, и уже представлял себе, как будут веселиться товарищи, когда он станет в лицах рассказывать им о случившемся. И вдруг мозг его, словно иглой, пронзила страшная мысль. Сегодня он купил пять коробок спичек — надоело каждый раз бегать к соседям, а одну-две коробки купишь, в тот же вечер кто-нибудь из курильщиков непременно унесет... Спички лежали в кармане, и если на Гороховой учинят обыск, тогда не просто будет выпутаться.

К счастью, сумерки быстро сгущались. Когда подошли к Николаевскому мосту, фонари еще не были зажжены. От реки поднимался туман. Коста шел у самых перил и, улучив минутку, когда по мосту с грохотом проехала телега, быстро бросил в Неву одну коробку. Разбрызгивая жидкий снег, мимо них пролетел извозчик, и еще одна коробочка упала вниз. Когда была выброшена последняя, Коста вздохнул с облегчением.

В жандармском управлении разговор был короткий.

— Обыскать! — приказал начальник.

— Есть обыскать!

И тотчас привычные руки обшарили карманы Коста, ощупали грудь, спину... А другие такие же ловкие руки ворошили его этюдник, и Коста с тихим бешенством глядел, как грубые пальцы давят драгоценные тюбики, зачем-то ломают кисти и куски загрунтованного картона, приготовленные для этюдов.

Жандарм подозрительно вертел в руках мастихин.

— Что сие? Нож?

— Мастихин, — негромко сказал Коста. — Это когда пишешь маслом...

Начальник неопределенно хмыкнул.

Приступили к составлению протокола. Коста долго отвечал на вопросы: откуда родом, кто родители, к какому сословию принадлежит, где изволит обучаться. Когда, наконец, протокол был составлен, начальник сказал, обращаясь к «фараонам», услужливо стоявшим наготове:

— Отвести господина студента по месту жительства и произвести обыск в комнате. Если ничего предосудительного не обнаружится, отпустить.

В сопровождении «фараонов», теперь уже двух, Коста шел обратно. На улице было совсем темно, липкий снег, перемешанный с дождем, слепил глаза.

Вот и двор неподалеку от академии. Втроем они поднялись на чердак, где находилась комната Коста. «Боже мой, — с тоской вспомнил он, — на стене висит кинжал! Если мастихин показался им подозрительным, то что будет, когда в комнате студента окажется холодное оружие?»

Решение надо было принять стремительно. Коста сам отпер дверь своей комнаты, первым вошел в нее и, делая вид, что ищет спички, чтобы зажечь свечу, быстро снял кинжал со стены и сунул за пазуху — личного обыска они не станут повторять. Он так долго шарил по столу, искал спички, которых у него не было, что один из городских грубо прикрикнул:

— Чего шарить?!

— Спички ищу! — резко ответил Коста.

Второй жандарм услужливо чиркнул, поднес спичку к свече, и она, потрескивая, разгорелась. Жандармы перевернули все: постель, бумаги на столе; они выкинули из комода белье, а один полез под кровать. И тут сердце Коста снова тревожно забилося: под кроватью в чемодане хранились рукописи. Среди них пьеса «Поздний рассвет», поэма «Чердак» и другие еще неоконченные произведения. Но пьеса-то, пьеса о русском революционере-подпольщике Борисе! Вдруг найдут? Так она, пожалуй, поострее кинжала...

Жандарм быстро выбрасывал из чемодана страницу за страницей, наспех просматривал их, явно ничего не понимая.

Конспекты лекций, письма отца, черновики осетинских стихов. «Где же пьеса? Где пьеса?» — лихорадочно думал Коста и вдруг вспомнил: на днях заходил Крымшамхалов, Коста прочитал ему первый акт, а уходя, Крым сунул исписанные листы в карман и сказал шутя:

— У тебя скорый экзамен, забери-ка я рукопись пока к себе...

Тогда Коста даже немного удивился бесцеремонности товарища, а теперь мысленно благодарил его.

«Ай да Крым, выручил земляка!» — думал Коста, уже уверенный, что на этот раз все обойдется благополучно.

8

В тот хмурый весенний вечер 1885 года, когда Петербург был придавлен свинцовой тяжести густым туманом, Коста прямо из полиции пришел к Андукaparу. Открыв дверь и увидев смертельно бледного Коста, старший Хетагуров перепугался, взял его за локоть и подвел к дивану.

— Что случилось? Леван жив? — спросил его Андукapar.

Он знал, что брат любит своего отца, и считал, что лишь смерть старика могла бы так потрясти Коста. Но он покачал головой, опустился на диван и, сжав кулаками виски, со стоном выдал из себя:

— Какая мерзость!

— Да говори, черт бы тебя побрал! — прикрикнул Андукapar и протянул ему капли Вольфсона. — Выпей и успокойся.

— Не помогут мне твои капли!

Андукapar присел рядом, положил руку на вздрагивающие плечи брата.

— Полиция вызывала... Понимаешь, полиция!..

— А, какая беда! — улыбнулся Андукapar. — Или тебе впервой?..

— Мне приказано в течение суток покинуть Питер. Понимаешь? — Коста закрыл лицо ладонями, у него закружилась голова.

— А я давно говорил — уезжай-ка ты, брат, пока за решетку не упрятали, — спокойно сказал Андукapar. — Завтра же. И ни часом позже! Смотри, как бы за казенный счет не отправили, да еще в другую сторону. Знаешь, что в городе творится?

- Да что я такого сделал? — Коста развел руками.
— А чьи эти слова?

«Ты людоед! Да!.. Ты всегда
Горячей кровию питался...»

Чьи? — повторил Андучапар и сам ответил: — Твои. И не твои стихи ходят по рукам, призывая к борьбе? Кажется, знаешь, что и Борисова на днях арестовали, и Якубович в тюрьме. Мало тебе? Тебя гонят из столицы, грозят ссылкой, а ты строишь из себя неприступную Касарскую скалу!

Коста мягко высвободился из-под руки брата и, вопросительно заглянув в его взволнованное лицо, спросил:

— погоди! Куда ты гнешь, Андучапар?

— Не я, а ты гнешь... Ты сам себе железную решетку готовишь! Исеева не «двойка» твоя сводила с ума. И не жаль ему было выдать тебе бесплатный билет на лекции... Он, пройдоха, обо всем пронюхал... И знает, что тебя считают душой кружка северокавказцев. Он не так уж глуп, чтобы не понимать, какому богу ты молишься. Зачем ты пишешь такие стихи, песни, пьесы!..

— Хватит мне мораль читать! — вскипел Коста.

— Нет, не хватит! — крикнул Андучапар. — Тебя выгнали из академии, лишили стипендии... Теперь гонят из столицы!.. Не пора ли тебе одуматься, найти свое место в жизни, идти с ней в ногу?

— Это я давно от тебя слышу. Ты, брат, знаешь, что я ищу свое место в жизни и найду. А ты не свои слова говоришь... А что же дальше?

— Домой! Домой, на Кавказ — и больше ни слова! — не задумываясь ответил Андучапар. — Денег на дорогу я тебе дам. Поднакопил малость, хотел матери послать. Но раз такая беда, бери.

— Вот и учись!.. Проклятье этому миру! — с содроганием произнес Коста.

— Будь мужчиной, брат! Больше выдержки! Побереги силы, они тебе еще пригодятся!

Часть третья



Крепко мы скованы вражьей рукою,
Все, что мы чтили, поругано тут.
Отняты горы... Нет мертвым покоя,
Старых и малых тиранят, секут...

Горе! Мы к смерти бежим от позора,
К пропасти злобно нас гонят враги.
Мощью народа взречься бы вам, горы,—
Кто-нибудь смелый, скорей! Помоги!

КОСТА

1

Во Владикавказ, в знакомый с детства город на Тереке, Коста приехал ранней осенью 1885 года и поселился в одноэтажном кирпичном домике, где жил священник Цаликов с тремя дочерьми. Выбор жилья был не случайным. Отец Коста Леван Елизбарович (вторым браком) и Александр Иванович Цаликов были женаты на двух сестрах, и семья Цаликовых заочно знала Коста. К тому же у священника опальный Хетагуров чувствовал себя более спокойно: сюда не так пристально заглядывало бдительное око тайной царской службы.

Здесь же, в этом доме, в своей крохотной комнате он принял, вернее, вынужден был принять заказ от одного крупного чиновника, да и не простой заказ, а — портрет императора Александра III. Да, он вынужден был создать красочный портрет главного палача Российской империи, которого он, Хетагуров, еще в Петербурге назвал в своем стихотворении его подлинным именем: людоед. И что же это означало: злая шутка суровой судьбы или ловушка? Может быть, этот чиновник — «хвост», потянувшийся за ним из Петербурга на Кавказ? Иначе для чего же понадобился чиновнику портрет царя в исполнении пока еще никому тут не известного молодого художника? Если это не так, чего же он не «поторговался» о цене портрета? Ведь художник «заломил» цену в два раза дороже, чем стоит такой портрет, — сто рублей... «Да, подослан он ко мне! Подослан с целью запомнить мою физиономию, всю мою

внешность для того, чтобы знать меня и глаз с меня не спускать», — думал Коста, когда заказчик ушел. «Догнать и решительно заявить ему об отказе «мазать» голову людоеда... Да и тратить на это дорогостоящие краски, подаренные другом Верещагиным! — с минуту подумал Хетагуров с досадой и омерзением. — Но нет, поздно, да и аванс уже в кармане. Деньги? Да, черт бы их побрал, деньги!» О, как они ему нужны были сейчас, когда в пустых карманах свистел ветер! Но вернуть их не так трудно: главное не в них. А кто знает, кем и с какой целью он подослан? «Испытание, проверка лояльности? Черт его знает! — презрительно сплюнул он, принимаясь за работу. — А мечты мои, самые светлейшие мечты мои — писать, создавать картины из жизни дорогих сердцу простых людей, пейзажи родной природы?.. Работать над давно задуманной поэмой — кавказской повестью? Но для того, чтобы сбылись мечты, надо существовать, а чтобы существовать в краю беспросветной нужды, нужны деньги на хлеб и воду, на одежду и жилье. А как их заработаешь, если не будешь «мазать» головы «светлейших», не будешь изображать разных святых для божьих храмов? Другой работы же не дают!»

Из Петербурга Коста вернулся на Кубань, в отцовский дом. Его мечтой было устроиться на работу и, имея какие-то средства к существованию, отдаться творчеству. Но не тут-то было: все двери перед ним оказались закрытыми.

Остаться жить на отцовских харчах в глухом селе Георгиевско-Осетинском, где не было даже начальной школы, означало сознательно захлопнуть для себя окно в мир, прозябать в темнице, зажатой горами, и слышать только урчанье реки Кубань.

Он решил переехать во Владикавказ — столицу Терской области, центр родной Осетии. Вот тут-то ждут его дела, которым он решил посвятить всего себя. На переезд во Владикавказ его воодушевил и отец. Он посоветовал сыну на первых порах остановиться на квартире у Александра Ивановича Цаликова, который сможет помочь ему найти работу по вкусу. Старый Леван был прав: семья Цаликовых — отец, его дочери — старшая, Елена, средняя, Юлиана, и младшая, гимназистка Анна, — приняла Коста, как старого и доброго знакомого, они даже радовались, что «бог послал им неожиданно такого желанного учителя»... Сестры восхищались разносторонними

талантами своего квартиранта: художник, поэт, непревзойденный декламатор! А как он играет на пианино и поет родные песни!...

Слух о появлении в городе молодого художника быстро облетел интеллигентных горожан. Для городского театра, например, Хетагуров — мастер декоративной живописи — был просто находкой; церковные деятели тоже быстро признали в нем человека, который недурно копировал лики святых; заказы по церковной живописи начали поступать, и было чем заработать на хлеб. И тем досаднее, что он взялся «мазать» изображение ненавистного императора-людоеда, портрет его у Хетагурова не получался, и он изрядно мучился с ним.

В тот солнечный день с раннего утра Коста снова начал безуспешно трудиться над обработкой головы царя и до обеда не отходил от мольберта. Измучившись, он, не переодеваясь, взял свежие газеты под мышку и пошел на проспект, отдохнуть, подышать свежим воздухом.

2

Центральную улицу Владикавказа с бульваром из молодых лип и акаций теперь называли Александровским проспектом. Сидя на деревянной скамейке под акациями, Коста просматривал свежий номер «Терских ведомостей» — официоз местной администрации. Он знал, что эта газета среди других подобных органов официальной печати особенно отличалась безудержной клеветой на горцев, называя их всех кандидатами на виселицу, и Коста метко окрестил ее «Мерзкие ведомости».

Прочитав очередную хроника о высылке «возмутителей спокойствия» за пределы «усмиренного» кавказского края, он поднял голову и взглядом обвел бульвар. Среди разношерстных обитателей проспекта он заметил двух девушек, шедших рядом в его сторону и выделявшихся из остальной публики аккуратно выглаженной гимназической формой и туго заплетенными черными косами. Он загляделся. Они шли неторопливо, изредка переговариваясь между собой. Поравнявшись с ним, одна из них, которая была поменьше ростом, резко остановилась, а потом, сказав что-то подружке, подошла к нему и громко произнесла:

— Здравствуйте, Константин Леванович! — и кокетливо поклонилась. Поймав недоуменный взгляд Коста, она скороговоркой добавила: — Я — ваша, хетагуровская, племянница. Вы меня не узнали? Неужели я так выросла, что не узнать меня?

— А-а, вспомнил! Ты дочь тети Госамы,— сказал Коста в ответ, с трудом оторвав взгляд от удалявшейся рослой, с отчеканенной фигурой гимназистки.

— Угадали, быстро угадали, Константин Леванович! — весело проговорила девушка, присаживаясь рядом с ним на скамейке и разглядывая его невзрачную одежду. — А почему вы не в комбинезоне? Кто же выходит на бульвар в таком виде? — с упреком сказала племянница.

— По одежде встречают, по уму провожают, Верочка, — безразлично ответил Коста и снова посмотрел вслед ее подружке, которая, дожидаясь Веру, остановилась в конце бульвара под липой, а потом как-то машинально спросил у племянницы: — Это твоя подруга? Как ее зовут? Чья она?

— Да, моя лучшая... Анной ее зовут... Вместе заканчиваем гимназию... Из богатой она семьи... Фабриканты... Но умница она большая! Понравилась? — хитровато улыбнулась Вера и, как бы невзначай, добавила: — Я давно мечтала познакомить вас с ней. Хотите? Умных она любит!

— Ну, раз она такая большая умница, — улыбнулся и Коста, — отчего же не познакомиться! Чем увлекается твоя подружка?

— Музыка обожает, — не задумываясь, ответила Вера. — Очень стихи любит и читает большие романы. А я так не могу, не хватает времени... Дома все приходится мне самой делать: убираю, полы мою, стираю... Гостей встречаю и провожаю: часто к нам приезжают знакомые и родственники с гор... А Анютке-то что! Служанки... Работники... Они у них дома всё делают. Мать ее умеет вертеть людьми, строгая она такая...

— Вижу, Верочка, ты завидуешь своей подружке. Не так ли? — Коста прямо посмотрел в большие голубые глаза племянницы.

— Конечно, Константин Леванович! — грустным голосом ответила Вера. — Как не завидовать! У Анютки такой гардероб... Своя спальня, постель в бархате... Какие хочешь духи... А в другой ее комнате — пианино, много-много книг... Дом у них — собственный, двухэтажный, с мезонином, у чугунного моста,

большие окна на Терек и гору Казбек глядят... Каждое воскресенье в доме праздник. Мать ее, Любовь Георгиевна, обожает балы. А главным гостем у них на балу всегда сам генерал бывает!

— Так, так...— задумчиво сказал Коста.— Стоит ли знакомиться мне с девушкой из такого «высокого» семейства? Мы-то из плебеев!

— Стоит, стоит! — затрепетала Вера.— Она, Анюта моя, добрая, да и красивая, умная... Полюбит...— Вера вскочила, будто ее обожгло ею самой произнесенное слово «полюбит», и заторопилась: — До завтра, Константин Леванович! Завтра встретимся в это же время, вот здесь. Мы с Анной всегда вместе домой идем по бульвару после уроков,— говорила она почти на ходу, краснея от того, что наговорила так много о своей подруге.

— До завтра, Верочка моя хорошая! Маме приветы от меня,— сказал Коста вслед уходящей торопливыми шагами племяннице.

3

В маленькой четырехугольной комнате с единственным окном на темную, мрачную Тарскую улицу ночами не гас тусклый свет керосиновой лампы. Неустанно скрипело стальное перо, заполняя лист за листом белой бумаги короткими, звенящими, как сталь, поэтическими строками. Коста начисто переписывал уже готовые главы из поэмы «Фатима». Таяла стопка чистой бумаги, росли исписанные черной тушью листы. В тихой комнатке разворачивались бурные события сложнейшей жизни и отчаянной борьбы большого, многоязыкого края... И когда рассветало, Коста было жаль оторваться от письменного стола: поэма, которую он давно задумал, как ему казалось, получалась. Но работать ему приходилось главным образом ночами, потому что с раннего утра до сумерек он был занят рисованием. Он готовил портреты и картины для задуманной им выставки; заново воссоздавал, реставрировал всех святых григорианской церкви владикавказских армян; не мог отказать и родным осетинам в художественной росписи их богоугодных заведений... А тут и театральные деятели, высоко оценивая

дарование Хетагурова, активизировали свое «наступление» на него: все чаще приглашали его в театр то на роль актера в важной пьесе, то на создание декораций... Но из всех занятий ему самому больше по душе была работа над созданием поэтической книги для своего народа, в которой он бы выразил думы и чаяния родных ему горцев... А где печатать книги? Ведь в области нет ни газеты, ни журнала, ни книжного издательства, в котором бы на осетинском языке печатали произведения. Правда, не было недостатка в церковных книгах, их-то печатают, и они выходят на осетинском. И если даже была бы возможность издания светских книг, никто бы не разрешил печатать «бунтарские» сочинения Коста. Но он, убежденный, что когда-то лед тронется, творит, создает свои песни на родном языке. Пусть каждому осетину каждая из них станет родной песней. И не только осетину...

Пока Коста никому не читал свои осетинские стихи. Но вот незабываемый вечер. Цаликовы с близкими отмечали день рождения старшей дочери. Елена настойчиво попросила Коста исполнить что-либо из его осетинских сочинений.

— Что же исполнить вам? — в некоторой растерянности спросил он и подсел к пианино. — Вещи еще сырые, над ними еще работать и работать... Но раз так хочется имениннице, прослушайте фрагменты из будущей поэмы или баллады в моем собственном — не осуждайте — и даже в корявом исполнении. Называется она «Кубады», написана по мотивам произведений народного творчества.

Коста пел сначала спокойно, как бы проверяя себя на слух, и сам аккомпанировал себе довольно умело:

...Орла порывы.
Вой вьюг тоскливый.
Гром в поднебесье.
Слеза оленя.
Ручья кипенье —
Пастушьи песни...

А потом увереннее и громче, приглашая слушателей к танцу:

Свет после бури,
Краса лазури,

Привал для стада,
Луга и воды,
Пора свободы —
Мечты Кубады...

Стулья за столом опустели: все кружились в веселом танце...

Но вот смолк певец, оборвались звуки инструмента, а люди зачарованно смотрели на автора и исполнителя порадовавшей их песни, дружно хлопали; Коста раскрылся перед ними новой гранью своего таланта. А он смущенно вытирал носовым платком пот с худого, усталого лица. Александр Иванович, заняв за столом место тамады, молча смотрел на него и, словно не поняв, что произошло в этот вечер в его скромной квартире, думал о чем-то серьезном и очень приятном.

Когда все снова заняли свои места за столом и вновь наполнили бокалы, Александр Иванович осторожно, словно боялся спугнуть певчего соловья, попросил поэта почитать стихи на родном языке.

Коста не мог не исполнить желания доброго тамады, к которому он уже проникся глубоким уважением, и начал читать пока еще никому не известные свои стихотворения. Ему дружно аплодировали и просили повторить понравившиеся стихи.

— «Песню бедняка» еще раз, пожалуйста, — попросили мужчины, и Коста повторил:

У людей — простор огромных
Комнат, свет, тепло и лад.
А у нас в пещерах темных
Дети с голоду кричат.

У людей — пиры, удачи,
Свадьбы — мир вокруг поет.
А у нас как будто плачет
Над усопшим тощий кот...

— Доподлинная картина жизни нашего бедного народа! — с глубоким вздохом сказал один из гостей.

— Дорогой Коста, пожалуйста, «Думу жениха»! — просила именинница.

Поэт с удовольствием прочитал очаровавший женщин стих:

Моя краса,
Огни — глаза,—
Тебя мне лучше б не встречать!..
С красой такой,
С такой игрой...
Как одинокому молчать?!
Глаза твои,
Слова твои
По сердцу бьют, и все больней.
О, как мне быть?
Как дальше жить?
Мне стать бы жертвою твоей...

— Друзья мои, дети мои, я счастлив, — Александр Иванович поднялся, трижды перекрестился, а потом высоко поднял бокал и от души продолжал: — У меня сегодня большой праздник: узнал, что у осетин родился новый поэт! В этом у меня нет уже сомнения! Пожелаем ему орлиного полета и выпьем за его удачи!

Все поняли, о ком тост, все встали, зазвенели бокалы, словно говорили: «Да будет так!» Коста сконфузился от неожиданно обрушившихся на него похвал и не знал, куда себя девать, как и чем ответить. И чтобы отвлечь от себя внимание гостей, подошел к пианино, запел и заиграл веселую осетинскую застольную: «Айс ай, аназ ай!»

Вскоре после того памятного вечера Коста закончил работу над поэмой «Фатима», посвященной трагической судьбе девушки-черкешенки Фатимы.

Осиротевшую после смерти родителей-бедняков девочку — Фатиму князь Наиб взял в свой дом и дал почтенным старцам обет святой, что выдаст ее замуж за лучшего из князей. Сын Наиба — Джамбулат и Фатима полюбили друг друга и были помолвлены. Но вскоре Джамбулат ушел на войну и не вернулся. Фатима шесть лет ждала его. Годы шли, и Наиб, подчиняясь адату, предложил Фатиме выбрать себе в мужья одного из князей, что просили ее руки. По-прежнему любя Джамбулата,

Фатима уступила требованию князя, но выбрала мужем бедняка Ибрагима.

Многие лишения познала Фатима в этом браке, но жизнь ее была счастливой. Шли годы. Умер Наиб, а вскоре после его смерти в аул вернулся Джамбулат — он до сих пор был в плену. Узнав, что Фатима замужем, он просит ее вспомнить об их любви и стать его женой, но она решительно отказывается. Тогда Джамбулат коварно убивает Ибрагима. Узнав об этом, Фатима сходит с ума.

Коста писал поэму, и перед ним вставал пленительный образ чудесной горянки — смелой, решительной, любящей трудовую жизнь и трудовой народ.

Писалась «Фатима», лилась строка за строкою, куплет за куплетом, глава за главою. В них бурлила, бушевала жизнь, как волны буйного весеннего Терека... Битва, классовая битва, разгоревшаяся между Джамбулатом, одним из последних феодалов, и Ибрагимом, олицетворявшим поднявшийся на борьбу за свои человеческие права народ, была жестокой, непримиримой, смертельной битвой. А судьба Фатимы была горькой и трагичной, как у всех женщин-горянок.

4

Свидание, на котором должна была решиться судьба искренней любви двух молодых сердец, словно ударом острой сабли, было отрезано в это раннее летнее утро. Коста, ожидавший свидания в роще перед домом, не предполагал, что в такую рань к подъезду дома Поповых подкатит крытая карета в сопровождении трех вооруженных всадников в офицерской форме и, как бы по тревоге, на его глазах посадят в нее и увезут Анну. Потрясенный непредвиденным событием, он мог только заметить, как Анна гневно тряхнула головой, послала Коста воздушный поцелуй и прощально помахала рукой, когда братья почти вталкивали ее в карету. Пока он стоял как вкопанный под цветущей акацией, карета и всадники прогрохотали по Чугунному мосту. Подняв тучу пыли, карета свернула на юг и направилась по Военно-Грузинской дороге в сторону Дарьяльской теснины.

Пораженный случившимся, он чувствовал себя обескры-

ленным орлом. В памяти всплывали обрывки воспоминаний. Прошло около двух лет, как он познакомился с Анной. На первых встречах Анна с грустью повторяла: «Не на радость нам будет наше знакомство...» — и просила его расстаться вовремя и больше не встречаться. Но Коста не отступал. Напуганная матерью и братьями, Анна начала избегать встреч с ним. В это время Коста узнал, что руки Анны добивается офицер из богатой алдарской семьи и с хорошим положением в штабе войск Терской области. Узнал он и о том, что родные девушки — и мать, и братья — всеми силами стараются выдать Анну, вопреки ее желанию, за состоятельного алдарского сына. Но его чувство к тому времени было столь глубоким, что Коста уже не мог отступить, да и не мог смириться с тем, что корысть и тщеславие решают судьбу Анны.

Коста послал ей в подарок альбом с посвященными ей стихами, с трагической поэмой «Перед судом» и своими к ней рисунками.

В стихотворении, которое потом стало «Посвящением» к поэме «Фатима», Анна прочитала:

«Ах, с каким безграничным восторгом, дитя,
На руках из мишурного света
Я унес бы далеко, далеко тебя
И любил бы любовью поэта...»

Заглавные буквы акростиха складывались в фразу: «Аня, иди за мной». Над стихотворением была начертана лира и на ней надпись: «Посвящение».

В другом стихотворении, озаглавленном «А. Я. П.» (Анне Яковлевне Поповой), она со слезами прочла тогда и запомнила наизусть:

Скрывать, молчать, страдать безмолвно
Нет сил, терпенья больше нет,—
Как знать, обижу ли вас кровно,
Найду ль сочувствье и ответ?

Но все, что так терзает душу,
На части разрывает грудь,—
Давно уж просится наружу,
Давно уж пробивает путь.

В признание я не вижу цели,
Молчаньем я себя травлю...
Чего хочу на самом деле? —
Зачем вам знать, что вас люблю?

Анна запомнила не только эти строки, но и целые строфы из поэмы «Перед судом», многие стихотворения Коста и нередко повторяла их своим подругам. Стихи и строфы обрели крылья. Молодые люди переписывали их друг у друга и читали своим близким. Артисты выучили сатирическую поэму Хетагурова «Владикавказ», написанную им на русском языке, и другие его стихи. Исполняли их в театре и в концертах.

Популярность Коста — поэта и художника — на родине росла. Особенное внимание общественности привлекла к нему его персональная выставка во Владикавказе — событие, совершенно необычное для Терской области. Об этой выставке заговорила кавказская пресса.

Во всех откликах высоко оценивались картины «Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии», «Скорбящий ангел» и «На школьной скамье жизни».

«Особенное внимание,— говорилось в одной из газет,— обращает на себя большая картина, названная в каталоге «На школьной скамье жизни». Она изображает мальчика-осетина из числа тех, которые на Военно-Грузинской дороге занимаются отысканием и продажей горного хрусталя. Художник схватил и передал на полотне тот момент, когда маленький дикарь, услышав приближение проезжающего или пешехода, перестает разбивать киркою лежащую около него каменную глыбу и протягивает руку с хрусталем, как бы говоря: «Купи!» Природа ущелья, фигура мальчика, его костюм, выражение лица и прочие детали исполнены художником весьма правдиво».

Выставка, о которой писала газета, принесла немало радостей Коста. В день ее открытия рано утром племянница Вера привела к нему в комнату посланцев его родного Алагирского ущелья. Среди них ему особенно приятно было увидеть и обнять молочных сестру Хадизат и брата Бориса. Год прошел с того времени, как Коста был последний раз в родном ауле Нар,— с той поры он их не видел. Посланцы приехали не с пустыми руками. Пока Коста разговаривал с земляками, Хадизат вынула из хурджина и разгладила черкеску и бешмет.

— Вот, дорогой Коста, подарок тебе, — сказала она. — Не знаю, впору ли они будут тебе. Но мы старались... А это — башлык, из отборного козьего пуха, а это — шапка, наша, горская. Скидывай-ка чужую одежду и надевай свою, родную. В ней ты будешь похож на мужчину!

— Да, да, Коста, — поддержал ее и Борис. — Праздник же сегодня: во-первых, Джиоргуба — народный праздник урожая, а во-вторых, день открытия твоей выставки. И знай, что в Наре сегодня заколют быка в твою честь. Богу единому и всем горным святым будут молиться, произнесут тосты за твоё здоровье! Песни, которые ты сочинил, будут петь хором!

Коста растерянно слушал душевные слова земляков, а потом от всего сердца сказал:

— Спасибо вам, родные мои, за все!

— Вот это по-нашему! — сказала Хадизат, когда Коста оделся с ног до головы по-кавказски. — Молодец Чендзе — твоя вторая мама: точно по росту все сшила!

В зал, как и надо было ожидать, первой вошла семья Цаликовых, барышни несли в руках цветы, а потом — Анна Попова, которую Коста не ожидал. Они остановились у одной из картин.

На полотне во весь рост была нарисована юная девушка. На лоб ее была наброшена легкая повязка, на голову накинут белый башлык. Мягкий овал лица, легкая простая одежда, скорбящие, но выразительные глаза — казалось, девушка вот-вот заговорит.

Раздались чьи-то приглушенные слова о том, что эта девушка на полотне совсем не похожа на «Святую Нину», как было обозначено внизу картины, а скорее напоминает земное существо.

— В самом деле, кого нарисовал наш Коста? — вполголоса спросил Борис. — Эта Нина мало похожа на святую.

— А тебе обязательно нужна икона, — ответила Вера. — Коста взял старинную легенду о девушке-грузинке Нине, которая дала людям образование. Вот народ и назвал ее святой. А Коста изобразил ее такой, какой ее представляют в народе. В левой руке она держит пергамент — символ просвещения, которое она принесла народу, а в правой — крест. Этот крест не похож на церковный — он сделан из виноградных лоз. Этим Коста подчеркивает, что счастье людей в труде.

— Молодец, Коста! — похвалил Борис, не отрывая глаз от картины. — Все как настоящее — и лицо, и волосы, и виноградные лозы. И знаешь, Коста будто влюблен в эту девушку... Так здорово он ее нарисовал.

— Все может быть! — лукаво улыбнулась Вера. — Наверное, влюблен, как ты в Хадизат.

— Чтoб ты язык прикусила! Чтo ты болтаешь! — смутился Борис.

— А разве неправда?

— Не болтай лишнего! — нахмурился Борис, покраснев еще сильнее.

А Коста украдкой наблюдал за тем, как вела себя Анна — прототип картины. Узнала ли она себя? И если да, так как она будет реагировать на это? Но Анна виду не подала, что узнала себя. Она с большим вниманием рассматривала другие полотна.

Тучный, весь в орденах, генерал вошел в зал и, надев очки, стал внимательно рассматривать портрет святой Нины. За его спиной стоял, вытянувшись в струнку, молодой кавалерийский офицер. Был он высок, смугл, в черкеске и бешмете, на боку у него висела серебряная шашка, кинжал и газыри блестяли серебром с чернью. Коста сразу признал в офицере Ахтанаго, своего ставропольского одноклассника и нынешнего соперника, самозабвенно ухаживавшего за Анной, но здороваться с ним не спешил.

В свою очередь молодой офицер сделал вид, что не замечает Хетагурова, и тоже рассматривал картину. Коста следил за ним. Лицо Ахтанаго менялось, как мартовский день: оно просияло, потом нахмурилось, густые черные брови сошлись на переносице.

«Интересно, узнал он, с кого писалась картина?» — думал Коста.

Покосившись на Хетагурова, Ахтанаго почтительно нагнулся к генералу.

— Превосходная картина, алдар! Неплохо такую иметь дома, — проговорил генерал.

— Я решил купить ее! — сказал Ахтанаго, чтобы опередить генерала и показать ему свое уважение к живописи.

— Не ошибетесь, алдар! — одобрил генерал. — И сделаете доброе дело. Ведь автор, кажется, ваш земляк. Предложите ему свои условия, а если не сойдется, я попытаюсь вам помочь.

— А почему бы нам не сойтись, ваше превосходительство? — вполголоса сказал Ахтанаго. — Автор — бедный студент, выгнанный из Академии художеств... Он будет только рад, если сможет сбыть свою картину!

Ахтанаго подошел к Хетагурову и с деланной вежливостью поздоровался.

— Я покупаю вашу картину... Какая будет цена? — небрежно спросил он.

— Не продается, алдар... Она написана по заказу Тифлисского собора, — сухо ответил Коста.

Он нуждался в деньгах. Но кому продать картину, где найти покупателя? Не Ахтанаго же, в самом деле. Ясно, что не из любви к искусству решил он купить «Святую Нину», он увидел на картине Анну и, может быть, даже хочет сделать ей подарок. Нет, он не продаст эту картину Ахтанаго!

— Пожалеете, Коста! — сердито бросил Ахтанаго, оскорбленный отказом Хетагурова. Его злило и то, что этот нищий художник посмел изобразить на портрете Попову, за которой ухаживает он, молодой алдар. Кто же это мог ему позволить? Неужели сама Анна? Нет, больше не повторится ставропольская история. Там нередко бывало так: познакомится Ахтанаго с хорошенькой гимназисткой, а девушка увидит Хетагурова и забудет о нем, об Ахтанаго...

5

Зачем, поэт, зачем, великий гений,
Явился ты так рано в этот мир,
Мир рабства, лжи, насилия и гонений
Мир, где царил языческий кумир?..

КОСТА

Августовское солнце палило нещадно. В тот полдень оно словно остановилось над маленьким зеленым южным городком и хотело спалить его саманные хаты и кирпичные двухэтажки, постоялые дворы и питейные заведения, лавки купцов и церквушки.

Толпы разношерстной публики вереницами шли к городской

площади, где под белым чехлом стоял еще не открытый памятник.

Посланцы разных народов Кавказа с венками пристроились за воинской колонной, медленно шедшей впереди под негромкие звуки оркестра. Юная Анна Цаликова и Коста шли рядом среди разных делегаций. Они принимали участие в церемонии возложения венков при открытии памятника. На широкой белой ленте золотом сверкали на солнце слова: «От сынов Кавказа».

В толпе мелькали фуражки полицейских и жандармов, согнанных сюда администрацией со всех городов края «для поддержания порядка». Их было много, Коста казалось, что блюстители порядка «обнюхивают» каждого рядового участника торжеств: не бунтарь ли?

Медленно ступая, Анна и Коста с удовольствием вспоминали все, что произошло с ними по пути на эти торжества.

✓ Во владикавказском кружке передовой интеллигенции, которым руководили братья Шанаевы, единодушно решили на открытие памятника М. Ю. Лермонтову в Пятигорске послать делегацию из подлинных представителей осетинской молодежи. Среди них — Коста и гимназистка Анна Цаликова. Такой случай обрадовал обоих, и они с большим желанием исполнили приятное поручение общественности: они еще позавчера приехали в Пятигорск. Остановившись в гостинице, Коста еще раз продумал свое выступление о поэте, а вечер посвятил встречам со знакомыми, приехавшими на торжества из других городов. Пятигорск в эти дни скорее походил на большую многолюдную ярмарку, чем на курорт. Город пестрел белыми фуражками, зелеными мундирами, черкесками, яркими платьями и причудливыми дамскими шляпами.

Встреча Коста с журналистом из частной газеты «Северный Кавказ» Прозрителевым состоялась в гостинице. Крепко пожав руку Хетагурову, Прозрителев сказал:

— Очень рад вас видеть, Константин Леванович! Пожалуй, втройне рад!

— Непонятно, почему втройне? — улыбнулся Коста. — Первая радость — праздник поэзии. Вторая — это наша с вами встреча... А третья?

— О-о! Третья, пожалуй, вам и всем нашим единомышлен-

никам покажется самой интересной, — протер вспотевший широкий лоб Прозрителев. — Я ведь нашел, Константин Леванович, тот документ, который мы так долго искали. Нашел!

— В самом деле? — недоверчиво покачал головой Коста. — Тогда зайдемте ко мне, это чрезвычайно интересно!

Они вошли в тесный номер гостиницы.

Прозрителев достал папку и положил ее перед Коста.

— Вот, смотрите! — сказал он. — Пожелтел, побурел документ, но сохранился еще неплохо.

«Дело о погребении убитого поручика Лермонтова», — прочитал Коста на пожелтевшей от времени папке и начал перелистывать аккуратно подшитые и пронумерованные страницы «Сов. секретного дела».

— Как вам удалось разыскать это? — спросил Коста.

— Долгие поиски, упорство и, конечно, кое-что в карман архивариуса... — улыбнулся Прозрителев. — Теперь этот бесчестный хвостун попляшет...

— Это вы про Эрстова?

— Да-да! — сказал Прозрителев. — И этот... тип будет освящать памятник... Читайте вот здесь, — он открыл страницу в середине «дела», заложенную бумажкой. — Мало того, что этот, с позволения сказать, духовный отец отказался участвовать в погребении поэта, вот что он еще написал!

«Лермонтова, — прочел Коста, — как самоубийцу, надо было палачу привязать веревкой за ноги и оттащить в бесчестное место и там закопать...»

Коста поднял голову и вздохнул.

— Так вот оно что! — Значит, верно говорили про Эрстова, что он сыщик... Сыщик в рясе и с крестом!..

Коста хорошо знал, что памятник Лермонтову ставят почитатели поэта. Это они собрали деньги на сооружение памятника, чтобы отметить семидесятипятилетие со дня рождения русского гения.

Ах, как надо бы на таком торжестве громко, во весь голос сказать народу, что не Мартынов, а сам царь был убийцей поэта.

— Как бы то ни было, а слово, живое, честное, достойное гения слово, надо будет сказать, дорогой! — заключил Коста.

Проводив журналиста, Коста снова погрузился в думы. Конечно, на открытии памятника он скажет слово и прочтет

стихотворение. Оно давно уже готово. Но дадут ли ему выступить? А почему бы и нет?

Коста вспомнил, как вчера с Анной Цаликовой они ходили на склон Машука, к домику, где Лермонтов провел последние дни своей жизни. Он встал до восхода солнца, чтобы встретить зарю у домика поэта.

А перед этим Коста видел сон, будто он с Лермонтовым в лунную ночь сидел высоко в горах и молча разглядывал цепь причудливых вершин, тянувшихся от Эльбруса до Казбека.

По дороге на Машук Коста рассказал этот сон Анне Цаликовой. По тропинке, вьющейся среди виноградных кустов, они вскоре подошли к небольшому каменному домику, каких на склоне горы было рассыпано немало. Остановились у изгороди, обвитой зеленью, и долго стояли около калитки.

— Только подумать, Анна, — с горестью сказал Коста, — через эту калитку Лермонтов вышел и больше не вернулся — его сразила пуля палача...

— Это было почти полвека тому назад, — вздохнула Анна.

— Да, почти полвека назад, — вслух подумал Коста, — а голос поэта все еще звенит кругом.

Пожилая женщина, прибиравшая дворик, открыла калитку.

— Заходите, пожалуйста, — пригласила она Коста и Анну и показала им на скамейку под раскидистым засыхающим ореховым деревом. — Вот тут Михайло Юрьевич сживал по утрам.

— Благодарим вас, дорогая хозяйка! — сказал Коста, пропустив Анну вперед.

Они молча, словно в храм, вошли во дворик и присели на скамейку. Здесь было много роз и жасмина. Рядом с отживающим свой век ореховым деревом пробивались молодые побеги.

— Жить бы ему да жить! — вздохнула Анна. — И зачем он влез в эту безумную историю с глупцом Мартыновым?!

— Не так просто все это было, как вам рассказывали в гимназии, — сказал Коста, вскинув густые брови. — И совсем не так, как афишировали эту дуэль сами убийцы!

— Убийцы? — переспросила Анна.

— Да. Те же, кто убил и Пушкина.

— Как это может быть? — вздрогнула Анна.

— А вот так, милое дитя... Мартынов только нажал на спусковой крючок, а пистолет зарядили в Петербурге! Не

Мартынов, так другой бы нажал его... Повторилась та же история, что и с Пушкиным. Мне раньше тоже казалось, что все это происходило очень просто: мелкие обиды, ссора, вызов на дуэль, секунданты, пистолеты... Но нет. В Петербурге я понял, откуда исходят нити расправы с неугодными поэтами... — Коста спохватился и умолк — стоит ли об этом рассказывать молодой девушке.

— А папа говорил, что будет не праздник, а панихида, — заметила Анна. — Почему это? Ведь празднуется день рождения поэта?

— Известно почему: так велит начальство. Но посмотрим, как поведет себя народ! Вон смотрите, у грота Лермонтова джигиты уже танцуют...

— И правда! — оживилась Анна. — А у Ермоловского источника танцуют кабардинскую кафу! А еще дальше — русскую пляску... Слышите музыку?

— Слышу и вижу, Анна! И это очень хорошо!..

Анна вполголоса спросила:

— Не слишком ли пышно сказано, Константин Леванович? — Гений, да еще великий, торжествующий! Ни о каком поэте так еще никто не писал и не говорил...

— А вот я написал и так скажу на открытии памятника. Надо полагать, Анна, что вам и стихи мои не по душе придутся? — усмехнулся Коста.

— Какие стихи? Я не слышала их, Константин Леванович... Прочтите, пожалуйста!..

— Слушайте! — и Коста начал читать стихотворение, посвященное памяти Лермонтова:

Зачем, поэт, зачем, великий гений,
Явился ты так рано в этот мир,
Мир рабства, лжи, насилья и гонений,
Мир, где царил языческий кумир?..

— Пойдите, хватит! — прервала его Анна. — Прошу вас, не надо!

— Что? Почему не надо? Я ж говорю правду! Нет, нет, Анна Александровна! Непременно буду читать эти стихи!

— Умоляю, именем отца и сестер умоляю, читайте другие стихи, — оглядываясь, взмолилась Анна. — Кругом же будет начальство, жандармы... Вы же знаете лучше меня, как это опасно для вас...

— Нет, не переубедили вы меня, Анна Александровна, — хмуро ответил Коста. — Но ваш совет не лишен смысла...

— У вас есть другое стихотворение о Лермонтове. Почему вы не хотите его читать? — продолжала умолять Анна.

— Хорошо... Я, пожалуй, подумаю, — согласился наконец Коста.

* * *

На площади перед памятником полукольцом уже стояли ряды солдат, а впереди них — сомкнутая цепь полицейских. У мраморного постамента собрались члены юбилейного комитета. Рядом с начальником области стоял священник Эрастов, старый, сморщенный, в шелковой рясе и с золотым крестом на животе. На левой стороне груди у всех членов комитета были трехцветные банты, такого же цвета флаги развевались на флагштоках, между которыми были натянуты зеленые гирлянды.

Потные полицейские, с трудом сдерживая толпу, пропускали к памятнику лишь тех, кто нес венки.

Церемония открытия памятника началась. Все шло по заранее расписанному начальством порядку: унылые речи чиновников, жидкие хлопки публики, деланные улыбки членов юбилейного комитета.

Наконец последний оратор сошел с трибуны. С монумента сняли белое покрывало, и над людским морем возникла литая фигура поэта. Он сидел, подперев рукой голову, и смотрел вдаль, где на голубом фоне вырисовывалась панорама белых вершин Кавказского хребта.

За строем солдат раздались приветственные восклицания, затем горячие, долгие аплодисменты. К постаменту понесли цветы...

Коста и Анна последними подошли к мраморным плитам памятника и в торжественном молчании положили венок у ног поэта. Коста обнажил голову и обернулся к публике. За рядами солдат он увидел много знакомых лиц. В группе священ-

ников стоял Александр Цаликов, среди офицеров — знакомые ему Хоранов, Кубатиев, Петр Попов.

В толпе простого люда Коста видел дагестанцев, русских, осетин, черкесов... Их сюда никто не приглашал. Они приехали сами, по велению сердец. Эти люди любят великого поэта, как он сам любил их горы и степи, преклонялся перед их мужеством и талантом. А вот чего ради приехали сюда Хоранов, Ахтанаго, Петр Попов? Разве им дорога память поэта? Они тут только по казенной надобности.

Коста перевел дыхание и, повернувшись лицом к памятнику, поднял руку.

— Великий, торжествующий гений! — громко заговорил он. — Подрастающее поколение моей родины приветствует тебя как друга и учителя, как путеводную звезду в новом своем движении к храму искусств, науки и просвещения!.. Пусть этот праздник послужит стимулом для нашего возрождения к лучшему, честному, доброму! Пусть поэзия Лермонтова жжет наши сердца и учит нас правде!

С новой силой загремели аплодисменты.

Коста обернулся лицом к народу и начал читать стихи:

Торжествуй, дорогая отчизна моя,
И забудь вековые невзгоды,—
Воспарит сокровенная дума твоя —
Вот предвестник желанной свободы!..
Она будет, поверь,— вот священный залог,
Вот горящее вечно светило,
Верный спутник и друг по крутизнам дорог,
Благородная, мощная сила!..

Снова раздался гром рукоплесканий и восторженные приветственные выкрики на разных языках. А Коста продолжал:

Возлюби же сго, как изгнанник-поэт
Возлюбил твои мрачные скалы,
И почти как святыню предсмертный привет
Юной жертвы интриг и опалы!..

Взревели трубы. Это генерал едва заметным жестом руки приказал оркестру заглушить голос Коста. Но овации нара-

стали. В толпе закричали «ура!» Анна Цаликова крепко пожала руку Коста. А Коста стоял растерянный — он не ожидал, что его слова могут вызвать такую бурю.

И вдруг он ощутил страшную усталость — сказалось напряжение всего этого дня. Он увидел, как сквозь возбужденную толпу к памятнику протиснулся высокий, с черной бородой человек в мундире гимназического учителя и обнял Хетагурова:

— Мой дорогой Коста! Вон ты каким стал! Я из тебя готовил художника, а ты, оказывается, стал поэтом и оратором! Очень хорошо сказал, очень хорошо!

Коста узнал Василия Ивановича Смирнова, своего учителя в Ставропольской гимназии.

Но поговорить им не дали. Коста окружили земляки, знакомые. Все поздравляли его, благодарили за сердечные стихи, посвященные Лермонтову.

Офицер Хоранов стоял в стороне и молча наблюдал за этой картиной. Сегодня его самолюбие было сильно задето. Кто поручил Хетагурову представлять на открытии памятника молодежи Осетии? Как тот осмелился выступить от имени осетинского юношества, когда здесь присутствует он, Хоранов, которого, как самого достойного, земляки-офицеры послали представлять Иристон? Это он, Хоранов, храбрый воин, герой Шипки, первым вскочил в царскую карету и первым обнял светлейшие ноги императора, когда его величество однажды соизволило прибыть во Владикавказ. Он первым в Осетии приветствовал государя, и ему, храброму кавалеристу, на глазах всей публики посчастливилось проехать несколько минут в царской карете. Тот солнечный день Хоранов считает восходом своего счастья. Тогда царь обратил на него внимание и велел повысить его в звании. И теперь он, Созрыко Хоранов, никому из осетин не уступит первенства. Но Хетагуров посмел опередить его, Хоранова, и какие ужасные слова посмел он высказать при почтеннейшей публике!

Растолкав людей, Хоранов подошел к Хетагурову и небрежно взял его под руку.

— Отойдем, я с тобой хочу поговорить, — сказал он по-осетински.

Они отошли в сторону. Хоранов высвободил руку и, pokrив пальцами выхоленные усы, насмешливо спросил:

— Ты, теленок безрогий... видишь, что у меня? — и показал на свои усы.

Коста и раньше знал этого рослого, сильного офицера осетинского конного полка. Хоранов славился среди офицерства своей безупречной преданностью начальству и тем, что он был отважным воином, отменным джигитом. Знал Коста и то, как и почему этот полуграмотный осетин так быстро поднялся по служебной лестнице.

Сейчас Коста с недоумением пожал плечами.

— Вижу, Созрыко, что у тебя усы. Ну и что из того?

— А вот что это на плечах — видишь? — Хоранов показал на свои погоны.

— И это вижу, не слепой!

— Так вот знай: перед тобой мужчина! — Хоранов в упор посмотрел на Коста. В эту минуту он был похож на злого, хищного коршуна. — Я здесь представляю всю Осетию. А ты кто такой?

— Я — сын своего отца, — спокойно ответил Коста. — К чему такой вопрос, Созрыко?

— Я тебе поясню, к чему, я — Хоранов! И ты это запомни!..

* * *

На приеме, устроенном в честь открытия памятника пятигорским обществом в одном из уютных и вместительных особняков, автор памятника Александр Михайлович Опекушин отказался сесть во главе стола. Он выбрал место поближе к петербургским друзьям, приехавшим сюда вместе с ним. Увидев Василия Ивановича Смирнова, которого Опекушин знал еще в годы учения в Академии художеств, Александр Михайлович предложил ему свободное место напротив себя.

— Благодарю, но я не один, — ответил Василий Иванович. — Вот, познакомьтесь, наш коллега по академии — поэт и художник Хетагуров.

Коста молча и почтительно поклонился.

— Рад познакомиться. Прошу, молодой человек, не отказать в любезности сесть с нами, стариками. Я слышал сегодня ваше слово... и должен сказать...

— Дамы и господа! — раздался голос генерала, и Опеку-

шин умолк, хитро подмигнув Василию Ивановичу.— Я думаю, что выражу мнение всех собравшихся, если попрошу сказать несколько слов того, кто является виновником нынешнего торжества. Александр Михайлович, прошу...

Высокий, широкоплечий, величественный, Опекушин поднялся, заслонив своей могучей фигурой и отца Эрстова, и генерала при всех его регалиях. Он был взволнован, глаза гордо и радостно блестели. Коста залюбовался им.

— Сын крепостного мужика,— негромко сказал Смирнов, наклонившись к самому уху Коста.— Гордость России.

Опекушин, щурясь, глядел на золотистое вино в своем бокале и переживал приветственные возгласы.

Наконец он заговорил. Голос его грубоватый, говор волжский, чуть окающий.

— Почтенные дамы и господа! Что таить, я счастлив сегодня. Нет высшей радости для художника, как видеть осуществленной мечту. О нынешнем дне мечтал я давно. Лермонтов вернулся нынче на воспетый им Кавказ. Но я должен со всей откровенностью сказать, что нынешний праздник не был бы для меня праздником истинным, если бы не сей молодой человек в белой черкеске...— он протянул руку с бокалом в сторону Коста.— Только здесь узнал я, что это наш коллега по Петербургской Академии, господин Хетагуров. Спасибо вам, мой юный коллега, и за речь вашу, и за стихи... Я поднимаю бокал за ваше здоровье, господин Хетагуров! Пусть вечно могуч будет полет вашей мысли, вашего творчества, как смел и могуч полет горных кавказских орлов.

Опекушин с бокалом в руке обошел сидящих и приблизился к Хетагурову. Чокнувшись, он сказал ему ласково:

— Смелость и правда ваших слов, покорили меня. Отныне я ваш друг.

— Я тронут, Александр Михайлович,— смущенно ответил Коста.— Я пью за вас, за человека, которого всегда будут любить и помнить все, кому дорога русская поэзия.

Празднество продолжалось. Говорились казенные тосты, хлопали пробки от шампанского, лакеи бесшумно раскладывали по тарелкам изысканные яства.

— Милостивейший государь Александр Михайлович, речь неизвестного молодого осетина была, я бы сказал, довольно дерзкой,— донеслось вдруг до Коста.

— Что вы, ваша светлость, — возразил Опекушин. — Я уверен, вы не правы.

Увлеченный разговором с Василием Ивановичем и взволнованный вниманием Опекушина, Коста не сразу понял, что произошло и почему вдруг здесь, неподалеку от него, оказался с бокалом в руке отец Эрастов.

Кровь бросилась в голову Коста, он чуть не задохнулся от ярости.

— А вы!.. Вы по какому праву присутствуете здесь? — почти крикнул он, сам удивляясь своей резкости.

Все смолкли.

— Ваше превосходительство! — возмущенно воскликнул Эрастов, обращаясь к генералу и явно требуя у него защиты от бешеного горца.

Уж кто-кто, а отец Эрастов хорошо помнил, что это по его милости тело поэта почти сутки пролежало на паперти, — он не разрешал внести убитого в церковь. Но все же как некстати выплывает эта история... Неужели генерал не поддержит его?

— Ваше превосходительство! — еще раз повторил Эрастов уже менее требовательно.

Но генерал снова ничего не ответил. Он с интересом поглядывал на Хетагурова. Его отчаянная дерзость, кажется, даже нравилась генералу.

За столом кто-то кашлянул, люди в недоумении переглядывались, ожидая, что будет дальше.

— Господин Прозрителев! — раздался спокойный голос Хетагурова. — Я очень прошу вас, ознакомьте публику!

Прозрителев, сидевший на другом конце стола, поднялся, быстро раскрыл папку и, не дав никому опомниться, без всяких предисловий громко прочел:

«Совершенно секретно. Донесение по начальству о гибели поэта: Лермонтова, как самоубийцу, надо было палачу привязать веревкой за ноги, оттащить в бесчестное место и там закопать».

Генерал сидел молча, опустив глаза и поджав тонкие губы. Кажется, он допустил просчет, дав волю дикому горцу. Он злился на себя. А отец Эрастов всегда был глуп, хоть и старателен в службе. «И к чему эта бережливость? Неужели нельзя было вовремя уничтожить глупое донесение?» — все больше раздражался генерал.

А за столом все оцепенели, словно порыв ледяного ветра прошел по залу.

— Кто сочинил эту мерзость, спросите вы, господи? — снова услышал генерал голос Хетагурова. — Он среди нас, на празднике нашем!

— Ваш долг назвать его! — воскликнул Опекушин, и тотчас же возмущенный и требовательный гул поднялся над столом.

— Назвать имя бесчестного! — то там, то здесь раздавались голоса.

Генерал поднял глаза и про себя подумал: «Что ж, редкое сражение обходится без жертв... Придется пожертвовать сегодня Эрастовым... В подлости тоже ум нужен», а вслух сказал:

— Назовите его!

Но необходимости в этом уже не было: сам Эрастов пробормотал:

— Попутала нечистая сила... Нечистая сила попутала...

6

«Цены его глубокую привязанность, — вспоминала позднее Анна Попова, — я постаралась отстранить все те преграды, которые так чудовищно стояли пред нами, и мы, хоть изредка, но встречались свободно, обменивались взглядами, переживаниями». И действительно, это было так: вопреки запрету матери Анна рискнула пригласить на свои именины нищего Хетагурова, как называли его в доме Поповых, который не имел в городе даже собственного угла, не говоря уж о состоянии, положении и звании.

В тот день Коста пришел в дом Поповых с большим опозданием, в самый разгар веселья. В подарок имениннице он принес посвященные ей стихи и корзину свежих душистых фиалок. Он знал, что здесь все, кроме Анны, встретят его враждебно. Но это его не пугало: он шел поздравить, только поздравить именинницу с днем рождения. Он, Коста, не был бы сыном своего отца, если бы смалодушничал перед алдарским последышем и в чем-то уступил ему. А мать Анны? Ничего! Найдет, чем ответить ей, человек же! А если, как всегда в этом доме, халиф Каханов будет возглавлять веселье? Пусть! Не так страшен черт, как его малюют!..

Коста вошел в зал незамеченным и стал возле дверей. Все в зале кружилось в вальсе. Звучала музыка, мелькали лакированные туфельки, разлетались ленты и кружева, блестели глаза. Самой заметной фигурой среди танцевавших был, конечно, генерал Каханов. Пожилой он, а движения легки, азартны и красивы.

Вот и празднично разодетая именинница Анна плывет в паре с Ахтанаго; все в ней — в радужных красках, горят огромные глаза под длинными ресницами и густыми, вразлет бровями, на тоненьком точеном носике и на розовых щеках с ямочками играют мелкие жемчужные капельки пота.

Коста не сводил глаз с Анны. «Вот сейчас она проплывет в вальсе мимо меня, сверкнет глазами, надменно улыбнется и даст мне понять: «Видишь, какой у меня жених! Богат, красив, знатен, из княжеского рода и с положением!..» В длинном розовом платье, отороченном оборками и украшенном бантами, она была прекрасна. А как ей идет эта высокая пышная прическа и черные локоны на шее! Ее гибкая рука — на плече кавалера, он держит девушку за талию грубой ладонью и, не сводя глаз с ее лица, уверенно ведет ее в танце.

Коста было решил покинуть барское веселье и уйти. Но не успел он повернуться, как Анна заметила его. Поспешно оставив своего кавалера, она бросилась к двери. Лицо ее засияло еще ярче и, радостно улыбаясь, она протянула к Коста маленькие розовые ладони. Вручая подарок — корзину с фиалками, он заметил, что она была рада его приходу.

— Я ждала, — сказала она, с благодарностью приняв подарок. — Почему вас так долго не было?

— Анна... — тихо заговорил он и вдруг заметил Ахтанаго, внезапно возникшего за спиной девушки. Но Коста не растерялся: ловко подхватил Анну и бережно ввел ее в круг танцующих, — она только успела передать корзину горничной.

Помрачневший Ахтанаго обжигающей искрой метнул гневный взгляд на Хетагурова и, бряцая кавалерийскими шпорами, пошел злыми шагами к столу, за которым сидели и о чем-то мирно беседовали Александр Цаликов и алдар Амурхан — отец Ахтанаго, который, как догадывался Коста, приехал сватать Анну за сына. Никто из танцующих не обратил внимания на Ахтанаго, принявшего появление на балу Хетагурова как личное оскорбление.

Коста и Анна знали характер честолюбивого Кубатиева: он мог расстроить и омрачить семейный праздник, но рискнули и не уступили ему: «Пусть знает свое место!» Расчет их оказался правильным: в присутствии своего начальника Каханова он, Ахтанаго, не посмеет даже пикнуть, хоть и горит желанием тут же расправиться с дерзким «нищим художником».

Но Любовь Георгиевна — мать Анны и хозяйка дома — скоро заметила, с каким удовольствием ее дочь танцует с незванным и ненавистным ей «бездомным бродягой». Не в силах совладать с собой, Любовь Георгиевна извинилась перед своим знатным кавалером и выбежала из зала. Каханов, не поняв, что случилось с его дамой, в недоумении вернулся к столу.

Ахтанаго не упустил удобного момента. Он на цыпочках подскочил к генералу, вовремя подвинул ему кресло тамады и залепетал:

— Ваше сиятельство, это он, он расстроил благороднейшую хозяйку...

— Кто он, алдар, о ком ты? — Генерал сел и небрежно повернулся к Ахтанаго.

— Хетагуров, ваше сиятельство, — ответил он, явно добиваясь, чтобы генерал выслушал его.

— Не знаю такого, не слышал, — так же небрежно буркнул генерал. — Бокалы, господа, наполнить бокалы! Выпьем, господа, за здоровье милейшей хозяйки, Любви Георгиевны!

А что было дальше, на следующий день рассказал Хетагурову Александр Цаликов.

Алдар Кубатиев-старший с самого начала веселья за праздничным столом сидел хмурый. Он даже в мыслях не допускал, чтобы в его присутствии кто-то другой мог быть тамадой.

Тамадой должен быть старейший по возрасту — таков осетинский обычай, а он по годам был намного старше генерала. Это во-первых. Во-вторых, он — именитый алдар, и «сам бог велел» быть ему первым везде и всюду, а тут очень уж примял его генерал — даже слова для тоста пока не дал... В-третьих, в доме покойного Якова Попова, его старого приятеля, не Каханов, а Кубатиев должен хозяйничать. Ведь Поповы и Кубатиевы, как был убежден старый алдар, по существу уже близкие родственники: Анна — невеста его сына. «Оплошность», которую сегодня допустил грозный генерал, может быть по незна-

нию местных обычаев, алдар мог простить ему и уже простил. А то, что он, начальник области, не знает, кто такой Коста Хетагуров, этот возмутитель черни, и то, что генерал так невежливо и пренебрежительно оборвал на полуслове его сына, алдара, офицера Ахтанаго, который хотел доложить ему о Хетагурове, — этого Кубатиев-старший простить Каханову не мог. И старик, гневно стукнув кулаком по столу, встал. Генерал оторопел от неожиданной вспышки алдара и растерянно смотрел на него.

— Позволь мне, иналар, сказать, — потребовал Кубатиев-старший, от волнения с трудом подбирая и коверкая русские слова. — Твой не знай, а мой знайт Хетагуров сына: бунтарь, возмущай чернь! — Алдар опустил сухую, трясущуюся руку в нагрудный карман и вынул оттуда несколько помятых листочков. — Вот какой Коста песня сочиняй! Ему место есть Чечень-остров! Бунтарь! — и протянул бумаги начальнику.

— Не место, алдар, за праздничным столом доброй хозяйки какие-то грязные бумаги разбирать. Садитесь и успокойтесь, алдар! — властно сказал Каханов и взял бумаги. Развернул одну из них и, видя, что стихи не на русском языке, передал их сидевшему рядом Цаликову: — Отец Александр, не посчитайте за большой труд перевести содержание этих бумажек и переслать их мне завтра.

Заручившись его согласием, Каханов поднял бокал и произнес очередной тост за здоровье знатного алдара...

Коста хорошо знал, что его осетинские стихи, такие, как «Додой» («Горе»), «Кубады», «Мать сирот», «А-лал-лай», «Знаю», «Взгляни!», «Солдат», «Кто ты?», «Молодежь Осетии» и другие расходятся в списках по всей его родине, передаются из уст в уста, обретают новую жизнь — жизнь душевной народной песни — и поются везде: на пирах и свадьбах, за плугом и на сенокосе, на горных пастбищах, над колыбелью и у гроба, когда выносят покойника, в тюрьмах, солдатских казармах и в ссылке вдали от родины. И это не удивительно: в них поэт вложил и свою, и народную душу, думы и чаяния простых людей, которых алдар называет «чернью» — «сау адам». Не удивился Коста и тому, что его песни так метко и глубоко жалят кубатиевых, кахановых и им подобных.

...Вспоминная все это и думая о судьбе Анны, которую он так искренне полюбил, Коста смотрел на пенившиеся волны

Терека. Придя в себя, он раскрыл записную книжку, и на ее листки быстро, одна за другой, легли без помарок горькие строки:

Высокий барский дом... подъезд с гербом старинным...
Узорчатый балкон... стеклянный мезонин...
Закрытый экипаж... ящик с пером павлиным
И с медною трубой кондуктор-осетин...

Густая пыль столбом... и понеслась карета...
Завод... чугунный мост... базар... застава... степь...
Безумная!.. Пстой!.. Не покидай поэта!..
Не разрывай надежд и грез заветных цепь...

— Дяденька, записка тебе, — дернул Коста кто-то за рукав и он, вздрогнув, оглянулся.

Мальчишка, у которого он покупал фиалки, подал ему записку и пояснил:

— От барышни. Той, которой ты у меня корзинку фиалок покупал. Помните? Вон в том доме жила. Нонче я и им форель принес торговать. Господа еще спали. А барышня проснувшая была. Потерла глаза, кинула мне бумажку эту и тихонько сказала: «Художнику передай... Увозят меня в Тифлис...» Я разом смекнул кому...

Мальчик исчез так же быстро, как появился.

«А может, оставила записку о том, что не забудет меня?» — подумал Коста и развернул бумажку.

общаться со своим народом. За что? За какие преступления такая кара?

Видите ли, он, Хетагуров, и окружавшие его прогрессивно мыслящие люди восстали против закрытия единственной осетинской женской школы в области. Да, он восстал и был прав: простить мракобесам и тюремщикам кавказских народов это очередное преступление он не мог, не в силах был простить. Потому он написал протест и направил его в Петербург на имя обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева. Вместе с ним протест подписали и его единомышленники. В нем, между прочим, говорилось:

«...Во все времена своего существования школа пользовалась необыкновенной любовью и доверием осетин... Нет сил и умения передать всю глубину горя, причиненного целому народу этим неожиданным распространением. Вереницы ароб запрудили улицу... Прогнозующая толпа детей стучится и просится под знакомый кров, а их гонят прочь, не позволяя даже согреть окованные руки и ноги. Родители недоумевают... Дети плакали, не желая возвратиться в аулы, до позднего вечера дрогли на морозе...»

За что? Для чего? По какому праву? На эти вопросы тщетно искал ответы каждый осетин. Не оставалось никакого сомнения, что во всей истории главным руководящим началом служил самый беззастенчивый произвол...

Начальник Терской области немедленно расправился со всеми, кто подписал этот протест: священник А. И. Цаликов был выслан из Владикавказа; за учителями Тасолтаном Дзаховым, Тотразом Колиевым и некоторыми другими захлопнулись двери тюремной камеры. А Хетагуров... О нем Каханов писал заместнику и главнокомандующему войсками на Кавказе Голицыну:

«Означенный Хетагуров подстрекал горцев, столпившихся 5 января сего года у Владикавказского женского приюта, к бунту... После того как бунтующие были усмирены полицией и казаками, он подговорил интеллигентных осетин и двух духовных лиц к открытому выступлению против правительственных мероприятий... Тот же Хетагуров сочиняет противоправительственные песни, как-то «Додой», «Солдат», «А-лал-лай», «Походная песня» и прочие, распространяет таковые среди горцев через своих агентов и возмущает край...» При этом начальство,

конечно, не забыло упомянуть и его выступление в Пятигорске на открытии памятника М. Ю. Лермонтову.

...Скрипнула шаткая дверь, и в комнату робко вошел худой, изможденный горец. Коста посмотрел на него: лицо знакомое — это был Бейбулат. Он по-горски приложил правую ладонь к сердцу и со слезами сказал по-карачаевски:

— Прости, учитель дорогой, погиб ишак, четыре пуда руды погибло... Я погиб... Дети погибли... Что делать? Помоги!

— Вижу, ты еще жив, дети, наверное, тоже, — сказал Коста. — А что с ослом твоим и с хозяйской рудой?

— Ишак сорвался с тропинки и в пропасть полетел, руду хозяйскую с собой понес... Погибать теперь и мне, и детям: кормильца уже нет... С работы прогонят... За руду нечем заплатить... — заплакал Бейбулат.

— Плачь не плачь, а ни осла, ни хозяйского добра не вернешь, — успокаивал его Коста. — Поговорю с хозяином, попробую помочь. Иди!

Но Бейбулат, стоя на месте, позвал еще кого-то. В дверях появились люди и, поклонившись Коста, в один голос проговорили:

— И нам помоги, учитель. Аллаху за тебя будем молиться!

— А вы-то кто такие? — спросил их Коста, разглядывая горцев.

— Мы... мы от Дудова-князя бежали... Работы нам дай, работы! Дудов всю нашу кровь высосал...

— Беда мне с вами, — покачал головой Коста и пошел к управляющему.

За ним следом пошел и Бейбулат. Отстав от других, он остановил Коста и заговорил с ним доверительно:

— Сюда идет человек с ружьем... Беда будет... Стрелять будет! Это Хаса́ук... Недавно его брата убили, а кровник у нас на руднике скрывается...

— Хаса́ук? — переспросил Коста. — Слышал я эту историю. Говорят, что этот брат Хасаука хотел выкрасть.

— Да, да, — подтвердил Бейбулат. — И Хасаук так говорит. Его брат девушку увидел на танцах и... полюбил. Ему сказали, что девушка засватана... А он ответил: «Не храбрее меня тот, кто засватал...» Ночью он пробрался в дом девушки и похитил ее. А тут погоня. Похититель был убит в темноте... Теперь жёных кровником оказался... Сколько раз так бывало!..

— Бедность нас душит, — Коста вздохнул, — а тут еще п кровная месть: истребляем друг друга, как дикие звери...

За столом сидел и что-то подсчитывал на счетах светловолосый немолодой человек с густыми бровями.

— Николай Петрович, можно вас прервать на минутку? — обратился к нему Коста.

— Прошу, Константин Леванович, но не более минуты. Я очень занят, — ответил управляющий, устало взглянув на Хетагурова. — Поэму свою хотите мне почитать? Так лучше вечером!..

— Нет... Обыкновенную прозу, — усмехнулся Коста.

— Догадываюсь: опять с ходатайством!.. Если бы вы, Константин Леванович, так пеклись о благополучии акционерного общества «Эльбрус», как о бедных, мы бы давно разбогатели! — Управляющий смерил взглядом Коста.

— Да, это проза! Тяжелая проза! — согласился управляющий, узнав от Хетагурова о беде Бейбулата. — Но четыре пуда руды — это тоже не шутка. Вы же знаете, Константин Леванович, во что нам обходится эта руда... Так что придется рабочему уплатить за руду в тройном размере, тогда поощадим...

— Какая же это «поощада», Николай Петрович? И откуда у него столько денег? Общество, как вы знаете, гроши рабочим платит...

— Пусть работают лучше да чужое добро берегут!.. — Управляющий встал, считая разговор законченным.

— Ну, знаете, Николай Петрович... — нахмурился Коста. — Не вам это говорить! По четырнадцать — шестнадцать часов горняки из шахт не вылезают. Не работа, а каторга. А заработка с трудом хватает на пропитание осла да немного остается себе.

— Успокойтесь, Константин Леванович! Мы с вами ничего не изменим, только нервы будем трепать друг другу. «Эльбрус» и так убытки терпит. — Он на минуту задумался, потом махнул рукой: — Ну, так и быть... Пусть ваш подопечный идет на шахту... Там можно и без осла работать. — Яхши? Яхши? Ну, какая еще «проза» у поэта?

Коста коротко рассказал о бежавших от князя Дудова горцах и о Хасауке, пробиравшемся на рудник с ружьем.

— Надо принять их на работу, — закончил он. — Сами знаете, у батраков, кроме рабочих рук, нет ничего...

— Не понимаю, Константин Леванович! — воскликнул

управляющий. — Кто вы? Депутат левого крыла Горского парламента или... делопроизводитель нашей конторы?

— Да, депутат несуществующего у нас парламента, — горько усмехнулся Коста, чувствуя, что управляющий сдается. — Живые люди, рабочие... Как можно не думать об их судьбе?

— Но прежде бы вы о своей собственной судьбе подумали, — заметил управляющий. — Я вас принял на работу на свой страх и риск... Сколько я уже замечаний имею за это!.. А вы опять уговариваете меня... Знаете же, что у нас большой избыток людей... Куда мы денем новых?

— А что же им делать? — возразил Коста. — Земли у них нет, ее прибрали к рукам разные бии, тауби и прочие князья. Арендуют государственные земли по 10 копеек за десятину, а крестьянам сдают эту же землю по 10—15 рублей за десятину!.. Что же делать безземельному горцу, у которого нет денег на аренду земли?.. Неужели идти в абреки!..

— Уговорил, довольно меня просвещать, — примирительно заговорил управляющий, в душе соглашаясь с Хетагуровым. — Оформляйте «своих братьев», а такую «прозу», ради бога, не читайте мне больше! Лучше стихи! С каким наслаждением я слушаю ваши стихи о любви!

— А куда денешься от этой прозы жизни?

— Дай, господи, России парламент! — шутя взмолился Николай Петрович. — Вы непременно будете его первым депутатом от всех карын-чалчи — от неимущих!..

— Угадываю, — сказал Коста, подходя к горцам, которые окружили высокого, обросшего черной щетиной человека с ружьем на плече. — Это вы, Хасаук? Вас постигло тяжелое горе?

— Он, он, дорогой наш брат, — отозвался за него Бейбулат.

— Разделяю ваше горе. — Коста по обычаю опустил руки и склонил голову перед Хасауком.

Тот был польщен сочувствием незнакомого человека и тоже опустил голову. С минуту они постояли в молчании, потом Коста сказал:

— Знаю, брата вам никто не заменит. Но мужчина, если он настоящий горец, не должен падать духом... Вы не первая и не последняя жертва наших презренных диких привычек...

— Спасибо за сочувствие, хороший человек, — с трудом произнес Хасаук.

К беседовавшим подошел управляющий, посмотрел на горцев и понял, что они сейчас не откажутся ни от какой работы.

— Есть одно дело,— сказал он.— Но оно довольно опасное... И я не знаю, рекомендовать ли вам братья за него?

Коста понял, что речь идет о шахте, где недавно был обвал и погибло несколько рудокопов. Теперь ее называли «Могильной» и никто туда не шел работать. А суеверные люди утверждали, что место это проклято аллахом.

Хетагуров перевел горцам слова управляющего и принялся убеждать их не соглашаться идти в эту шахту-«могилу».

— Зато заработаете хорошо,— подал голос подошедший к ним подрядчик.— Так пойдете или нет?..

Пошептавшись между собой, горцы согласились. Соблазнился и Хасаук. Его не трудно было понять. Он поработает здесь, приглядится к людям и выследит своего кровника.

— Люди, с ума вы сошли! — не выдержал Коста.— Вы рискуете жизнью!..

— Все равно погибать,— вздохнул Бейбулат.— И лучше уж под обвалом, чем с голоду!

Подрядчик повел горцев к себе на участок. За ними пошел и Хасаук, вскинув ружье на плечо.

— Ружье сдай! Не на охоту идешь, а работать,— сказал управляющий.

— Оставьте ружье здесь, доверьте его мне, Хасаук.

Горец повернулся к Коста, пристально посмотрел ему в глаза.

— Вижу,— сказал он,— ты наш, ты добрый человек...— и протянул ему свое ружье.

В тот же вечер Коста разыскал кровника Хасаука — рудокопа Аскерби Токова, историю которого он хорошо знал, и привел его к себе.

Не успел Аскерби как следует разглядеть жильё Хетагурова, как его внимание привлекло висевшее на стене ружье.

— Что это у тебя, добрый брат? — спросил он у Коста, не отрывая глаз от ружья.

— Я потому-то и позвал тебя, Аскерби...

— Ты решил меня убить? — прервал его побледневший рудокоп.— Зачем? Я же тебе не кровник!

— Не я, дорогой, а тот, кого твое безумие лишило брата... Слышал имя Хасаук?

— Слышал и знаю, что он охотится за мной... Вы знаете, где он сейчас?

— Он здесь и хочет с тобой расправиться.

С этого дня Аскерби стал ночевать у Коста. Но про себя он решил бежать с рудника, быть подальше от Хасаука.

Гроза разразилась ночью. Молнии рассекали густую темень, сыпались крупные градины. Они хлестали по крышам бараков, с треском разбивались о камни, сбивали листья с деревьев.

Вскоре град сменился ливневым дождем. Коста и Аскерби показалось, будто небо водопадом обрушилось на поселок.

— Вот беда! Опять зальет шахты водой, — с тревогой сказал Коста. — Я здесь не так давно, а сколько несчастий уже случилось на моих глазах...

— Люди сами виноваты, — заметил Аскерби. — Как залезут в эти темные, узкие берлоги — не прогонишь! «Заработать, говорят, хотим!» Вот и зарабатывают себе кресты дубовые...

— Это не от хорошей жизни, Аскерби... Им есть надо. — Коста выглянул в окно.

Со стороны шахт донесся тревожный крик:

— «Могильная» завалилась! Спасайте людей!

— Там же никто не работает, — с недоумением проговорил Аскерби. — Кого спасать?.. Нечистую силу, которая там засела?

— Новая бригада туда нанялась, Аскерби. — Коста быстро натянул на ноги сапоги. — Бейбулат там... который осла потерял. Там и новые рудокопы: Султанбек и его друзья.

Наспех одевшись и взяв карбидки, Коста и Аскерби побежали к шахте «Могильной». Там уже собралось много людей. Со склонов гор стекали грязные потоки воды и с шумом устремлялись в черное горло шахты. Из темноты доносился чей-то исполощенный крик.

— В шахту громом ударило... Водой заливают... Не входите: там нечистая сила попрыталась!..

Люди растерянно топтались на месте, никто не решался спуститься в шахту.

— Там же люди погибают! Люди! Чего вы стоите? — не помня себя, крикнул Коста и, сбросив с плеч бурку, шагнул в шахту. Поток воды едва не сбил его с ног.

Вслед за ним, заткнув полы черкески за пояс, шагнул Аскерби. Вскоре он опередил Коста и скрылся во мраке тесной, низкой шахты.

Коста быстро выдохся, замедлил шаг и прислушался, не идут ли другие рудокопы. Вскоре донеслись приглушенные голоса. Это подбодрило Коста, и он громко крикнул:

— Э-э-эй! Мужчины! Смелее! Ничего опасного!..

Из глубины шахты послышался голос Аскерби:

— Человека придавило! Скорее сюда!

Коста бросился вперед. У стенки он заметил лежавшего лицом вниз человека, по пояс придавленного породой. Под ним журчала вода, но голова его лежала на камне, и это помогло ему не захлебнуться.

— Жив он еще? — торопливо спросил Коста, наклоняясь к человеку. — Дышит! Давай побыстрее, Аскерби!

Пока подходили другие рудокопы, Коста и Аскерби откопали придавленного. Ноги его были переломаны, лицо облеплено грязью. Коста поднес поближе карбидку и с трудом узнал Хасаука. Скрыв это от Аскерби, он распорядился:

— Вынесите его на воздух... Положите на мою бурку и тащите ко мне в комнату. Только осторожно... ему очень плохо.

Аскерби с готовностью нагнулся и подставил спину. Коста взвалил полуживого Хасаука ему на спину, и тот, хлюпая по колену в воде, потащил своего кровника из шахты.

— Ну, как он? — спросил Коста, нагнав Аскерби в пути.

— Стонет... Детей в бреду вспоминал, жену...

Вызвав рудничного фельдшера, Коста вместе с Аскерби донес Хасаука до своей комнаты. Здесь фельдшер наложил шины на переломанные ноги Хасаука и, дав совет, как ухаживать за больным, ушел.

Коста еще раз проверил пульс больного:

— Вот-вот он очнется... Вы должны быть готовы, Аскерби...

— К чему я должен быть готов? — устало переспросил тот. — Куда-нибудь еще нести надо?

— Вы узнаете его? — Коста кивнул на больного.

— Первый раз вижу, — ответил Аскерби. — Если он порядочный человек, мы отныне с ним должны быть названными братьями.

— Это вы правильно сказали, — подтвердил Коста. — Вы его спасли, и теперь он обязан вам жизнью.

— Кто он такой? Вы его давно знаете? Зачем мы принесли его в ваше жилье?

Помолчав, Коста показал на висевшее на стене ружье.

— Он — хозяин вот этого охотничьего ружья.

Аскерби вздрогнул, глаза его сверкнули.

— Как это понять, Коста? — спросил он. — Я спас его для того, чтобы он убил меня? Так, что ли? Я уйду отсюда...

Аскерби направился к двери, но Коста удержал его.

— Нет, вы не трус и не сбежите от опасности!.. Вам предстоит встреча с Хасауком... Лучшего момента не выждать...

— Я не буду убивать того, кого спас...

— А мириться? Я попытаюсь помирить вас, когда Хасаук очнется...

— Это невысказано, Коста! — Аскерби, опустив голову, задумался. — Хасаук очнется, и из твоего жилья могут вынести трупы двух кровников...

— Ой аллах! Взгляни, что с твоим рабом? — очнулся наконец Хасаук. — Где я? Что со мной?

Коста спрятал ружье, закрыл двери на ключ и, взглянув на Аскерби, твердо сказал:

— Трусость не в крови горца! Садись и делай то, что я скажу!

— Где я? Кто тут? — снова простонал Хасаук и приподнял голову. — Ой, ноги!..

— Вы у меня, Хасаук, у Коста, — громко проговорил хозяин и поднес к его губам кружку. — Выпейте воды!

Хасаук сделал глоток и ладонями провел по лицу. В памяти встала шахта «Могильная», поток воды, грохот обвала.

— Вы мой спаситель, Коста, — слабым голосом произнес Хасаук. — Вы меня вытащили из могилы?

— Нет, Хасаук, вас спас ваш брат. Вот он сидит здесь. Подайте ему руку. — Коста приподнял пострадавшего. — Посмотрите на него... Спасая вам жизнь, он сам едва не погиб. Аскерби, подойдите поближе! Отныне вы не кровники, а братья! Пожмите друг другу руки! С этого часа — мир и братство между вами!.. Сам аллах бы повелел так...

Аскерби встал, нерешительно подошел поближе к тахте и, опустив голову, стал у ног Хасаука.

— Где мое ружье? Подайте мне ружье! — узнав кровника, яростно вскрикнул Хасаук. Он пытался подняться, но не мог и только застонал от боли.

Аскерби, не шевелясь, смотрел на беспомощные движения своего кровника.

— Одумайтесь, Хасаук! — дружески прикрикнул на него Коста. — Ружье ваше здесь. Я подам его сейчас вам. Но на кого вы его направите? На своего спасителя?..

— Я стою у твоих ног безоружный, Хасаук! — с трудом заговорил Аскерби. — Стреляй! Я не дрогну. Я знаю свою вину... И готов расплатиться за свое преступление. Но если бы твоя мать узнала, что я спас тебе жизнь, вынеся тебя из-под удара аллаха, она бы назвала меня своим сыном.

Коста положил руку на плечо возбужденного Хасаука.

— Я свидетель всему этому! И всем людям расскажу об этом.

— Ружье мне, Коста, ружье! Вы поклялись, что не лишите меня ружья перед лицом моего кровного врага... Так будьте же верны слову! — Хасаук закрыл лицо ладонями.

Побледнев, Коста достал ружье.

— Берите, Хасаук... Но вы будете презреннейшим из всех презренных, если оно выстрелит в моем жилье в вашего брата-спасителя...

Хасаук схватил ружье, прижал приклад к плечу и направил дуло на Аскерби. Тот поднял голову и, не шелохнувшись, продолжал стоять перед Хасауком. Только на лбу его выступили капельки пота. Прошли мучительные секунды, и Хасаук не выдержал: ружье выскользнуло из его рук и упало на пол.

— Ля иллях иль алла... — простонал Хасаук. — Нет бога, кроме бога...

Слухи об активной помощи Коста горцам дошли до Владикавказа, и один из его друзей считал необходимым предостеречь его: «Да чего ради ты принимаешь к сердцу грязные общественные дела нашего селения? Я тебе советую не входить в эти дразги, будь они трижды прокляты! Пусть себе грызутся, как все наши живут с сотворения мира и так умрут. Еще какой-нибудь мерзавец донесет на тебя, что ты их бунтуешь, подстрекаешь, и тогда окончательно тебя будут преследовать. Плюнь, ради бога, на все это!»

Тяжесть положения Коста в карачаевской ссылке усугублялась потрясениями в личной жизни. 4 января 1892 года умер его отец. В письме к Анне Цаликовой он вспоминал: «Отца я не только любил, но обоготворял... Таких самородков, гуманнейших, честнейших и бескорыстных, я больше никогда и нигде не встречал. Мы с ним никогда не имели разногласия».

Поэт тяжело переживал кончину отца: «Смерть отца окончательно потрясла мои нервы. Я почувствовал себя совершенно одиноким во всем огромном мире... Вначале меня обуяло чувство полнейшего отчаяния, затем я несколько овладел собой и стал рассуждать...»

Не менее сильным ударом для Коста был отказ Анны Цаликовой стать его женой. Он обращался с предложением к отцу девушки сначала через священника Дигурова, а потом непосредственно к нему. Положительного ответа не последовало. В январе 1893 года Коста добился разрешения начальника Кубанской области на выезд из Баталпапинского уезда, чтобы лично поговорить с Анной. «Ответ был тот же, почти в тех же выражениях, но только более внушительный», — вспоминал он впоследствии.

Работа на руднике, естественно, не могла удовлетворить Коста — об этом он писал в одном из стихотворений:

Тахтаул-чалган не в силах
Вдохновить певца,—
Здесь толкуют лишь о жилах
Меди и свинца.

И он, несмотря на чрезвычайную занятость по службе, находил время для занятий и живописью, и литературой. Его картины, написанные в карачаевской ссылке, воспевали богатейшую природу Кавказа и мужество горцев, которые вели беспрестанную борьбу за существование в труднейших условиях. Картина «Теберда» воспевала горную природу, а рисунки «Виды Большого Карачая» воспроизводили повседневный труд рабочих серебро-свинцового рудника. К радости Коста и его друзей, они были напечатаны в столичном журнале «Север» в 1892 году.

И в живописных произведениях, и в литературном творчестве Коста стремился воспроизводить действительность правдиво, убедительно.

В Карачае им был написан рассказ «Охота за турами» — взволнованное повествование о трагической судьбе осетинских бедняков, обреченных на вымирание. Герой рассказа — горец Тебó, кормилец дружной и трудолюбивой семьи, ради спасения своих близких от голода, отправляется на опасную охоту и погибает под обвалом. Рассказ о частном случае имел символи-

ческий смысл — читатель понимал, что не пойдя Тедо на охоту, он вместе с семьей все равно бы погиб, только от голода.

Рассказ этот был опубликован в мартовской книжке журнала «Детское чтение» за 1893 год. Друзья и близкие Хетагурова радовались, что несправедливая ссылка не сломила его.

Здесь же, в Карачае, Коста работал над другими рассказами, но они не были закончены и не увидели света.

Весьма полно мысли и переживания Коста в карачаевской ссылке отразились в его поэзии. Как писал он сам в одном из писем к Анне Цаликовой, его стихи той поры «отличаются особенно мрачным тоном». Это и понятно: поэт трагически переживал разлуку с родиной, духовное одиночество, смерть отца, неустроенность личной жизни, невозможность открытой политической борьбы. И все же он активно искал пути действительной борьбы за улучшение жизни. В стихотворении «На новый 1892 год» он писал:

Полно! Я верю в разумную волю,
Доброе сердце, святую любовь,
Мы облегчим его горькую долю,
К жизни цветущей вернем его вновь.
Все мы в отдельности слабы и малы,
Дружно возьмемся — качнется гора...

Творческое кредо Коста той поры наиболее полно выражено в стихотворении «Я не пророк»:

Я не пророк... В безлюдную пустыню
Я не бегу от клеветы и зла...

Я не ищу у сильных состраданья,
Не дорожу участием друзей...
Я не боюсь разлуки и изгнанья,
Предсмертных мук, темницы и цепей...

Везде для всех я песнь свою слагаю,
Везде разврат открыто я корю
И грудью грудь насилия встречаю
И смело всем о правде говорю...

Я смерти не боюсь,— холодный мрак
 могилы
 Давно меня манит безвестностью своей,
 Но жизнью дорожу, пока хоть капля силы
 Отыщется во мне для родины моей...

Я счастья не знал, но я готов свободу,
 Которой я привык, как счастьем, дорожить,
 Отдать за шаг один, который бы народу
 Я мог когда-нибудь к свободе проложить.

КОСТА

— Да, мы ошиблись,— позднее горько каялись вершители судеб Кавказа, когда Хетагурову удалось вырваться из плена глухих карачаевских гор и переехать в Ставрополь.— Его надо сослать подальше, да так, чтобы не слышен был его голос! Все основания для этого были...

Какие же? К нему применили 26-ю статью учреждений Кавказа, которая гласила: до пяти лет ссылки без суда и следствия, по усмотрению начальства. Эта статья карала тех, кто выступал против власти,— убийц, воров, разбойников и грабителей. И, как казалось начальству, все было «законно». Ни Каханов, ни Голицын не сомневались в том, что в глухих и диких горах за пять лет изгнанник Хетагуров «прикусит язык» и забудет не только писать «возмутительные» стихи, песни, фельетоны, но и перестанет выступать с противоправительственными речами, прижмут его голод, скука, духовная нищета, тоска, и... усмирится.

Но Хетагуров никогда и никого не убивал, не был и вором-грабителем, никогда не разбойничал, да и никто не мог доказать, что он оказывал прямое сопротивление властям... Следовательно, его оклеветало местное начальство, и он был сослан незаконно.

Коста, конечно, не мог смириться с таким произволом и поднял решительный протест против грубого насилия и незаконных действий кавказской администрации. Но в Петербурге, куда он посылал свои протесты, не торопились с их разбором

пи в министерстве внутренних дел, ни в правительствующем сенате, ни в императорской прокуратуре.

Сломить дух и волю Хетагурова к борьбе не удалось. Наоборот, оказавшись в гуще нищенствовавших рабочих, безземельных крестьян — горцев и «иногородних», он стал более мужественным. Он вел глубинную разведку боем, закалялся и готовился к более решительной битве, преодолевая всяческие трудности и муки морального гнета изгнанника.

Нелегко было Коста в изгнании поддерживать связь с друзьями во Владикавказе. Больше всего он надеялся на семью Цаликовых, но она была напугана властями: отец трех дочерей тоже был выслан из Владикавказа.

В Ставрополе-Кавказском Коста с радостью принял Василий Иванович Смирнов — его бывший гимназический учитель и наставник. Его появление порадовало и хозяйку дома, Анфису Федоровну. Смирновы ответили ему полуподвальную комнату в своем старом доме. Комната была маленькой, сырой и полутемной — ее освещало единственное небольшое окно во двор. Рады были бы хозяева дать ему более удобное жилье, но у них не было лучшей возможности. Семья Смирновых была большая: супруги и их дети — девять девочек и мальчиков мал мала меньше.

Мастерская Смирнова была в том же доме, и Хетагуров с удовольствием и вниманием осмотрел картины певца родной природы — «Берег», «Опушка леса», «Верба»... Дочери Смирнова Гале — «маленькой неистовой пианистке» — он подарил клавир оперы Гуно «Фауст».

Дом Смирнова стоял на холме в центре города, напротив парка, который называли «Воронцовской рощей». В пору второго приезда сюда Коста Ставрополь утратил свое бывшее значение торгового пункта (после постройки железнодорожной магистрали Ростов-на-Дону — Владикавказ). Правда, здесь было около пятидесяти учебных заведений, театр, публичная библиотека и три газеты — «Ставропольские губернские ведомости», «Епархиальные ведомости» и «Северный Кавказ» — это и поддерживало репутацию Ставрополя как общественного и культурного центра.

Почти сплошь одноэтажный, глухой городишко отставных чиновников и разорившихся крестьян, мелких торговцев и крупных купцов, ремесленников и военнслужащих. В Мамай-

ке и Каменной Ломке, Шародрайке и Лягушевке по-прежнему влачили жалкое существование тысячи обездоленных людей. Нищета народная, куда ни глянешь! Прилично одетых, довольных жизнью людей можно было увидеть только в центре города, на проспекте, сбегаящем с холма вниз к просторному полю. Восточный ветер часто окутывал город облаками желтой тяжелой пыли. В дождь мутные потоки ручьями неслись по улицам губернского Ставрополя.

Однажды за чашкой чая Смирнов осторожно спросил Коста:

— Ну как, дружище, не подорвала ли ссылка в вас дух и волю к творчеству?

— Наоборот, дорогой Василий Иванович, заострила, — сказал Коста и, чуть помедлив, ответил стихами, которые он посвятил любимой:

...Далеко от родных, далеко от друзей.
Изнывая в тяжелом изгнание,
Отдаваясь тоске по отчизне моей,
Я чуждался надежд и желаний...

Я тебя полюбил больше всех из людей
За сердечность твою, за участие,
Но ты в чувстве моем, как в бряцанье цепей.
Не пайдешь ни покоя, ни счастья...

Я не стою любви, я не смею любить, —
Меня родина ждет уже к бою, —
Коль врага ее мне не удастся сразить.
То не встретимся больше с тобою...

— Понял, хорошо я тебя понял, — по-дружески похлопал Смирнов по плечу Хетагурова. — Клятва? Присяга родине?

— И то, и другое, Василий Иванович! — убежденно ответил Коста.

— Это здорово! — одобрил Смирнов. — А жить, жить-то чем собираешься, дружище?

— Бог не выдаст — свинья не съест, — пошутил Коста и показал Смирнову текст объявления, которое он приготовил напечатать в «Северном Кавказе».

— «Принимаю заказы по церковной, портретной и декора-

тивной живописи. К. Л. Хетагуров», — вслух прочитал Смирнов и, сокрушенно вздохнув, сказал: — Жаль, очень жаль, друг мой, тратить время и талант на мазанье святых и купцовых голов!..

— А что поделаешь, Василий Иванович, коль судьба такая: без хлеба насущного не проживешь!.. А еще мечтаю поработать в редакции газеты «Северный Кавказ». Но не знаю, примет ли меня Евсеев в компанию?

— Примет! — одобрил Смирнов идею Коста. — Отчего бы не принять? Ты ведь помнишь, что газета эта была основана в 1884 году Прозрителевым, а Евсеев с самого начала ее издатель и редактор, на первых порах он сам составлял многие ее номера. При основании газеты Евсеев дал подписку «не передавать права на ее издание в другие руки без особого на то разрешения главного управления по делам печати», но уже несколько лет издание газеты осуществляют другие люди — сначала Цирюльников, потом Абрамов. В последние годы газета стала печатать отдельные произведения писателей революционно-демократического направления, откликнулась на смерть Н. Г. Чернышевского и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сейчас в «Северном Кавказе» постоянно сотрудничают, кроме Евсеева и Цирюльникова, Прозрителев, Ларионов, Матвеев, Баранов. Весьма «активна» жена Евсеева — Берк, она без конца затевает на страницах газеты склоки. Всем этим сотрудникам, к сожалению, не хватает глубокого знания жизни, быта и нравов народов многонационального Кавказа. Газете очень нужен человек, который бы сочетал такие знания с умением анализировать события честно и правдиво и был наделен литературным даром. Все это у тебя, Коста, есть, так что ты — находка для «Северного Кавказа». Ее владелец не так уж глуп, чтобы не принять тебя в свою компанию по изданию газеты.

— Благодарю за комплимент, Василий Иванович! — улыбнулся Коста.

— Не комплимент, я говорю сущую правду, — от души сказал Смирнов и пожелал Хетагурову новых удач.

В «Северном Кавказе» Хетагуров сотрудничал уже давно, он подписывал свои произведения «Коста». Теперь его статьи и заметки стали появляться чуть ли не в каждом номере.

Каждая статья Хетагурова содержала убедительную полемику с царской администрацией, она всегда основывалась на

привлечении большого числа конкретных фактов. В центре внимания Коста были такие проблемы, как царское правосудие и обычный правопорядок горцев, национальная политика царского самодержавия в ее конкретных проявлениях на Кавказе, общественно-политическая и культурная жизнь кавказских горцев и политика царской администрации, администрация и народ. Статьи Хетагурова были направлены против самодержавной системы управления жизнью горцев Кавказа, и это определяло их стиль — сдержанный, основанный на анализе конкретных событий и фактов.

Когда в прессе был чрезмерно раздут вопрос о разбойничестве на Кавказе, Коста постарался ответить официальным писателям. Вовсе не идеализируя национальный характер горцев, он требовал правильного, исторического объяснения причин данного явления. Хетагуров видел причины абречества прежде всего в тяжелейшем экономическом положении крестьянства: «безземельные или имеющие ничтожные земельные наделы горцы, не получая никакого дохода с земли для удовлетворения своих насущных жизненных потребностей и будучи неподготовленными к другому, не земледельческому труду, в борьбе за существование легко впадают в преступления»... — писал он.

Правильно характеризуя в публицистических статьях социальные причины абречества, Хетагуров вместе с тем решительно осуждал и само это явление и, главное, социальные причины, его породившие. Большой силы художественное обличение этого зла содержится в его замечательных поэмах «Фатима» и «Перед судом».

В статьях Коста, печатавшихся на страницах «Северного Кавказа», решительно критиковалась национальная политика царского правительства, которое разжигало национальную рознь между народами. Хетагуров выступал последовательным проводником идей русской революционной демократии.

Особое — и общественное, и политическое — значение имел опубликованный (правда, не до конца) на страницах газеты «Северный Кавказ» очерк «Особа». Он выгодно отличался от других работ, посвященных этнографии кавказских горцев, тем, что в нем давался глубокий социальный анализ исторических условий существования горцев.

В 1893 году Коста принял на себя обязанности ответствен-

ного секретаря редакции и стал совладельцем «Северного Кавказа»; для этого ему пришлось заложить отцовскую землю в банк и вырученные деньги внести в пай. С приходом Коста облик газеты изменился, она все больше приобретала революционно-демократическое направление. Значительное место отводилось литературно-критическим и библиографическим статьям, посвященным творчеству Грибоедова, Островского, Салтыкова-Щедрина, Плещеева, выдающихся русских и зарубежных композиторов. Многие из этих статей принадлежали перу Коста.

— Знаете, Василий Иванович, — нередко говорил он своему старшему другу, — я все вспоминаю работу Герцена «О развитии революционных идей в России». Анализируя произведения русской литературы — только литературы, — Герцен сумел проследить созревание революционных идей. Гениально! Вот у кого надо учиться!

Многие статьи и заметки в «Северном Кавказе» — «Силуэты местной жизни», «Между прочим», «Между делом», «Хасаев-Юрт» — не имели подписи или были подписаны псевдонимами. Но читатели уже безошибочно угадывали почерк одного и того же человека — думающего, решительного и мужественного.

«Северный Кавказ» теперь смело вступал в полемику с другими газетами и журналами, издававшимися не только на Кавказе, — с «Терскими ведомостями», с «Новым временем», с «Гражданином», с «Неделей»...

Вдохновленный успехом, Евсеев даже обратился к правительству с просьбой о разрешении выпускать газету не два раза в неделю, а три, с тем чтобы вскоре сделать ее ежедневной. Однако ответ был неблагоприятным: «Принимая во внимание, что газета «Северный Кавказ» вообще не может считаться вполне безупречным изданием... Главное управление по делам печати полагало бы ходатайство Евсеева отклонить».

Авторитет газеты между тем возрастал.

«Наше время есть время широких задач, а следовательно, и великих дел, — писал Коста. — Вот почему теперь более желательны люди, жертвующие своими интересами в пользу общего блага, способные отказываться от мелкого личного самолюбия и умеющие сообща работать, так как только такие деятели могут решить предстоящие общественные проблемы. Как моря ковшем не вычерпаешь, так и ненормальностей нашей жизни

не изменить малыми делами». Таким по существу был девиз нового «Северного Кавказа».

«Вступая с г. Евсеевым в товарищество по изданию «Северного Кавказа» и «Листка объявлений», я, Хетагуров, обязуюсь участвовать в нем своим личным трудом, который должен выражаться как в сочинении статей для номеров «Северного Кавказа», так главным образом в непосредственном наблюдении за составом номеров в соответствии с утвержденной программой, и с установившейся физиономией названной газеты, направляя свою деятельность по этой части к тому, чтобы возбудить к ней в публике еще больший интерес, чем каким она ныне пользуется... Сообразно с таким назначением моего, Хетагурова, участия в издании, предоставляется мне право, без вмешательства его, Евсеева, заведовать личным составом редакции как в его настоящем виде, так и по мере пополнения его новыми лицами, приглашение которых во всяком случае должно быть с ведома моего и не иначе, как с моего согласия в определении всех условий работы, в том числе и условий вознаграждения за труд. Современный личный состав редакции, поступая в мое заведование, подчиняется моим распоряжениям как относительно распределения сотрудничества по составлению номеров, так и характера сотрудничества».

Эти условия, обозначенные в договоре, предоставляли Коста Хетагурову права фактического руководителя газеты. И Евсееву приходилось, хотел он того или нет, подчиняться его условиям. Когда же он и его Дульцинея, как прозвал Коста эмансипированную супругу хозяина, забывали об этом документе и пытались обвинять его в превышении власти и в «крамольном» направлении, которое приобретала газета, Коста сухо отвечал:

— Действую на законном основании. Не нравится — верните пай!

Но как вернешь, если пай Евсеев давно проиграл в карты!

Постоянные пререкания с Евсеевым раздражали Коста, отнимали силы и время. Коста всерьез подумывал о том, чтобы стать единовластным хозяином газеты. Но на это нужны были большие деньги, а где их взять?

Поразмыслив, Коста обратился с письмами к представителям интеллигенции Кавказа, в которых просил помочь ему выкупить газету у Евсеева. Прислал свое согласие лишь Андуканпар, но денег, которыми он располагал, не хватало. Остальные

же писали, что рады бы помочь, да сами бедны, как церковные мыши. Те же, кто имел много денег, считали идею Хетагурова сумасбродной. Его земляк Гиоев так и написал:

«Ты ждешь ответа на свое предложение о принятии доли в расходах по изданию газеты «Северный Кавказ»? Это дело мне совершенно неизвестно, и потому я решительно отказываюсь откликнуться на твой призыв. Но не могу не сказать тебе, что ты погубишь свое детище и себя, если будешь трактовать специально горские вопросы. Оставь ты бедных горцев в покое: в газете они не нуждаются...»

Прочитав это письмо, Коста горько усмехнулся. По мнению Гиоева: «Зачем лишний раз раздражать чиновников? Не спокойнее ли наслаждаться собственным благополучием, закрывая глаза на то, что творится вокруг?» Вот они, друзья-приятели!

Оскорбленный Коста написал стихотворение, которое так и назвал: «Друзьям-приятелям и всем, кто надоедает мне слезоточивыми советами»:

Мне вашего счастья не нужно,—
В нем счастья народного нет...

.
Оставьте пустое стенанье,
Советы и вздохи по мне!..
Коль вам непонятно сказанье:
«Не думай о завтрашнем дне».
Служите слепому кумиру,
А мне не мешайте служить
Всеобщему братству и миру...

Популярность и слава Коста росли на всем Кавказе и за его пределами. Связи Хетагурова с городами, селами, станицами и горными аулами, а также со столицей Российской империи крепились. Накал борьбы за свободу и интересы народов нарастал. Его усилия вливались в русло всеобщей борьбы прогрессивных сил страны против самодержавия.

...У окон типографии на Вельяминовской улице в эту рань толпились мальчишки-газетчики. Каждый из них был готов схватить охапку свежих газет, бегать по улицам и кричать: «А вот «Северный Кавказ»... Свежий номер! Читайте «Кому живется весело».

Но ждать им надоело, и через грязные окна они заглянули в печатный цех. Машина, на которой обычно печатали газету, стояла без движения. Недалеко от нее группа рабочих что-то читала, заливаясь веселым смехом.

Мальчишки не заметили, как к ним приблизился Коста в серой черкеске и с кинжалом на поясе.

— Что вы, други, носы повесили? — спросил он. Потом потрепал за волосы чернявого паренька и шутливо заговорил с ним по-армянски: — Карапет, а ну спой песенку: «На Кавказе есть гора...»

— Не до песен, дядя! — недовольно ответил по-русски мальчишка. — В животе мыши скребутся...

— Ого! А разве так бывает, чтобы мыши в животе скреблись?

— Выходит, бывает, раз в газете пишут. Читали позавчера, что миллион голодных мужиков по Руси скитается?..

— А ты сам разве читаешь газету? — заинтересовался Коста.

— Всю не-е, скучно, а «Кому живется весело» читал, — признался чернявый. — Здорово там все описано про этих Хапанцевых да Любоедовых... Так им и надо!

— Ну, ну, а кого ты еще запомнил?

— Да разве всех перечтешь! — отмахнулся чернявый.

— Дядя! — обратился к Коста другой парнишка. — А вы не знаете, почему сегодня газету не выпустили?

— Как не выпустили? — удивился Коста.

Он пошарил в карманах, сунул мальчишкам несколько монет: «Держите, друзья, на пряники», — и помчался в редакцию.

Евсеева он застал в его просторном кабинете.

Потирая бритую голову, раскрасневшийся Дмитрий Иванович сидел за большим письменным столом и просматривал номер «Северного Кавказа», два подвала которого занимало продолжение поэмы «Кому живется весело». Подойдя к столу, Коста заметил, что текст был испещрен вопросительными и восклицательными знаками, а отдельные строфы жирно подчеркнуты синим карандашом.

«Какие это свиньи паслись на моей поэме?» — чуть не вырвалось у Коста, но он сдержал себя и кивком поздоровавшись с Евсеевым, спросил:

— Что это такое, Дмитрий Иванович? Люди ждут газету, а номер до сих пор у вас на столе! В чем дело?

— Об этом надо вас спросить, вы ж секретарь редакции! — раздраженно ответил Евсеев, придвигая газету Хетагурову.

Коста молча взял газету и посмотрел на ее верхний левый угол, где обычно вице-губернатор ставил разрешение на выпуск номера в свет. Но сейчас в углу газеты было написано: «Сей номер не может быть дозволен. См. непристойное сочинение «Кому живется весело...»

Коста с трудом подавил гнев.

— Не понимаю господина вице-губернатора! — глухо заговорил он. — Вы же, Дмитрий Иванович, знаете, что я читал ему свою поэму, и он сказал: «Преотличнейшая сатира. Пусть теперь Каханов попрыгает!..» Так почему же вице-губернатор отказывается от своих слов? Что недозволенного нашел он в поэме?

— А то, милейший, что вице-губернатор увидел в ней не только Каханова, но и самого себя и многих, всю администрацию империи, — зло сказал Евсеев. — А я, на свою беду, не доглядел этого... Спасибо моему другу, Якову Васильевичу, что он открыл мне глаза на ваше сочинение, — Евсеев кивнул на пожилого дородного мужчину с лошадиным лицом, что сидел у стены на диване. — Молюсь богу, что я до сего дня еще не за решеткой из-за ваших куплетов! Подвели вы меня, подвели, Константин Леванович. А посему извольте-ка срочно заменить ваши недозволенные куплеты...

— А чем заменить? В запасе у нас нет ничего интересного, — возразил Коста. — А публика ждет. Мы же обещали дать читателям продолжение поэмы! Нельзя так обманывать читателей.

— А ваши куплеты, милейший, можно заменить статьей господина Абрамова, — буркнул Евсеев. — Дельная статья о банках: читатели в обиде не будут!

— Как вы сказали, Дмитрий Иванович? — переспросил Хетагуров.

— Кажется, я выразился очень ясно: ваше сочинение следует заменить статьей господина Абрамова об открытии крестьянских банков.

Коста насмешливо посмотрел на дородного Абрамова — это ведь он был один из «живых героев» его поэмы, Яшка-юродивый. Абрамов уже не раз выступал в газетах с клеветой на передовых людей страны, и Коста не мог не разоблачить его в своей поэме «Кому живется весело».

Хотя у Яши пасквили
С не меньшим обобщением,
Но краской либеральнойю
Его прикрыта ложь,
И бранью юродивого
Не всякий возмущается,—
Его задача явная:
За строчку взять пятак.

— Я читал эту статью и отверг ее, — решительно сказал Коста. — Открытием банков для сельских богачей не поправишь положение обреченных на голод миллионов разоренных крестьян! Такими банками загоняют мужика в еще большую нищету и кабалу!

Абрамов, уже знавший, как о нем сказано в «Кому живется весело» и услышав резкий отказ Коста, побагровел и затрясся, словно его отхлестали веником зеленой крапивы.

— Надо же знать меру, Хетагуров, — пролетел он и покинул кабинет Евсеева.

Хетагурову пришлось явиться к губернатору и давать ему объяснения о своей деятельности.

Губернатора особенно всполошила поэма «Кому живется весело» и большая статья Хетагурова «Накануне». Они, как и «Фатима», были напечатаны в номерах газеты «Северный Кавказ», а затем перепечатаны и другими газетами далеко за пределами Кавказа. Ссылный Хетагуров «распоясался» в Ставрополе: читает в воскресных школах и на разных многолюдных собраниях лекции по истории, философии и естествознанию, о композиторах и писателях, о французской революции и литературе; он организовал общество помощи переселенцам из Курской и других областей империи на Кавказ и голодавшим крестьянам; он — желанный гость в воинских частях и у рабочих края, читает им стихи, пишет и печатает острые репортажи о нещадной эксплуатации работников хозяевами; он рецензирует в печати книги, появление коих «будоражит» общественное мнение; вокруг него сгруппировались журналисты, композиторы и другие «нежелательные» интеллигенты, находящиеся под наблюдением полиции. И они часто проводят вечера, содержание коих не может не беспокоить начальство. Для ставропольских юнцов он создал самодеятельный театр, не имея на

то «дозволения», и сам он в этом театре и постановщик, и актер, и чтец, и художник... Много собирается молодежи на эти представления в парке «Роща», да и в театре. Все он делает бесплатно, ни от кого денег не берет. Чем объяснить его такую бурную деятельность? Во имя чего он все это делает? Никакой материальной выгоды же он не преследует?

В конце аудиенции губернатор зло откашлялся, давая знать, что он недоволен ответами нестигаемого упрянца.

— Скажите, господин Хетагуров, кто вы? — спросил он, вложив в этот вопрос весь свой гнев и возмущение, вызванные поведением ссыльного.

Коста ответил спокойно, словно не понял смысла вопроса губернатора:

— Вам это давно известно, ваше превосходительство: я — художник и поэт, незаконно высланный за пределы родного края. В правильности моего ответа вы убедитесь из разъяснения правительствующего сената. Убежден, что такое разъяснение вы вскоре получите: сенат разбирает мою жалобу на кавказское начальство...

* * *

Гнев ставропольского губернатора и других власть имущих был вполне понятен. Им не могли прийти по душе произведения Хетагурова, увидевшие свет на страницах ставропольской газеты «Северный Кавказ», прежде всего его поэмы «Перед судом» и «Кому живется весело».

Еще в 1889 году Коста начал работу над поэмой «Перед судом». Она была завершена в Ставрополе в 1893 году. В ней поэт поднял те же проблемы, что и в «Фатиме»: социально-экономическое и правовое неравенство людей — источник противоречий в обществе. Герой поэмы Эски стал абреком не только потому, что хотел отомстить за свою поруганную любовь — он мстил за свою холопскую долю в системе патриархально-феодальных отношений, при которых он не имел права на человеческую жизнь.

Бедняк Эски полюбил дочь князя, и она ответила ему взаимностью, но ее продали другому за богатый калым. Эски убил жениха княжны и был вынужден уйти в абреки. Глава абреков, он однажды был схвачен и предстал перед судом. Его страст-

ный монолог и составляет содержание поэмы. Он звучит как беспощадное обличение феодального мира, где нет и не может быть равноправия людей. Вместе с тем Эски не оправдывает абречества и понимает, что только неустроенность его судьбы и протест против несправедливости толкнули его на этот шаг. Вслед за героем автор поэмы осуждает форму такого протеста против патриархально-феодального мира, и в этом прежде всего сила и значение поэмы «Перед судом».

Исследователи творчества Коста Хетагурова отмечают сходство поэмы «Перед судом» с поэмой Лермонтова «Мцыри»: «Это — небольшая по объему поэма-монолог, где тихие лирические раздумья о пастушеском приволье, о рождении застенчивой любви перемежаются со страстным обличением мира несправедливости и бесправия. Эти переходы изумительны по выполнению и разительны по контрасту».

Вполне понятно, что одна из первых поэм Хетагурова создавалась в известной мере по образцу поэмы одного из любимейших им русских поэтов. Вместе с тем это оригинальное и самобытное произведение осетинского художника, всей силой своего поэтического дарования разоблачавшего реакционные патриархально-феодальные устои жизни.

Влиянием другого великого русского поэта — Н. А. Некрасова — объясняют создание Хетагуровым сатирической поэмы «Кому живется весело...». Действительно, в подзаголовке поэмы обозначено: «Подражание Н. А. Некрасову». Но знакомство с этим произведением убеждает всякого непредвзятого читателя, что это — вершина сатирического творчества Хетагурова, одно из его самых сильных произведений, раскрывающих реакционную сущность самодержавно-чиновничьей государственной системы всей царской России.

Как и «Перед судом», поэма «Кому живется весело...» — тоже обличительный монолог. Его произносит

Старик в холщовом кителе,
В ботфортах препоясанных,
В фуражке боевой.
Глаза его навывкате.
Усы его с подвесками,
И палка сучковатая
В мозолистой руке.

Старый воин обличает «подвиги» семи выгнанных со своих мест чиновников — «правителей, грабителей народной нищеты», прошедших все ступени царской службы — от писаря до «старшего страны неведомой». Это — «правитель канцелярии» Хапанцев, бывший начальник полиции Голубятников, гонитель народного просвещения Подлизов, «огромный дурище» Иван Зуботычев, «народный представитель» Рубков, «разбойник пера» Максим Лизоблюдов и, наконец, «старшой страны неведомой» Сенька Людоедов.

Рисуя деятельность этих «героев», Коста Хетагуров убедительно показывал, что вся система самодержавного государства — гражданское управление, полиция, военная бюрократия, народное представительство, органы просвещения, пресса — стремится только к одному: сеять рознь между народами России, держать их в темноте и невежестве, чтобы легче было грабить. Последнее не возбраняется ни одному из чиновников, стоящих на разных ступеньках служебной лестницы, каждому из них надо только помнить, что грабить он должен «по старшинству, по выслугам», то есть каждый вор должен знать свое место. Лишь когда чиновник вконец проворуется или замахнет на то, что «по праву» принадлежит старшему по чину, он может быть перемещен на другую должность.

Коста Хетагуров нарисовал мрачную, но глубоко правдивую картину жизни современной ему царской России. Не случайно читатели поэмы легко узнавали в ней события и факты, имевшие в то время место в Терской и Кубанской областях, а власть имущие в ее героях — себя. В Голубятникове все узнавали начальника Владикавказского округа полковника Голубова, в Кузьме Подлизове — протоиерея Косьму Гавриловича Токаева, Иване Зуботычеве — атамана Баталпашинского отдела Браткова, в Максиме Лизоблюдове — Евгения Максимова, редактора газеты «Терские ведомости», в Сеньке Людоедове — начальника Терской области генерал-лейтенанта Каханова, в Рубкове — начальника Нальчикского, а затем Владикавказского округа Вырубова.

Чувство «ненависти и презрения к объекту обращения», которое руководило поэтом при написании поэмы, придало особую убедительность и выразительность и повествованию старика, раскрывающего преступную деятельность «героев» поэмы, и авторским характеристикам.

Особое значение имела последняя из опубликованных глав поэмы, где проникновенно раскрывались исторические судьбы народов Кавказа до и после их включения в состав России. Хетагуров исключительно высоко оценил присоединение Кавказа к России:

Но вот пришел из-за моря
В поля те первобытные
С литой стальной пушкой
Могучий богатырь.
Бессильные с охотою
Признали в нем заступника,
Надменных же он силою
Заставил бросить щит.

Совершенно справедливо показал поэт причины бедственного положения народов Кавказа вследствие беспримерного извращения освободительных идей русского народа царскими колонизаторами:

По дряхлой, видно, памяти
Пошли переименовывать
Наказ богатыря.
И, вместо просвещения
Наукой и искусствами,
Начали одичание
Нагайкой изводить.
И, вместо сбережения
Народного довольствия,
Начали грабить каждого
И днем и по ночам.
И, вместо миролюбия
И чувства благодарности,
В сердцах народных сеяли
Проклятье и вражду.

Поэма «Кому живется весело...», написанная Хетагуровым на русском языке, в традициях русской обличительно-сатирической литературы, стала значительным событием не только в творчестве поэта, но и в истории русской литературы конца XIX века. В течение двух лет отрывки из поэмы появлялись на страницах «Северного Кавказа».

Таким же событием был и выход в свет в конце 1895 года в Ставрополе книги стихотворений Коста Хетагурова, написанных им на русском языке в годы его пребывания во Владикавказе, Баталпашинском уезде и Ставрополе. В одном из номеров редакция газеты «Северного Кавказа» известила своих подписчиков: «По случаю исполнившегося десятилетия газеты «Северный Кавказ» всем годовым подписчикам в 1895 году будет выдан бесплатно «Сборник стихотворений Коста».

Когда книга поступила в продажу, в газете появилось объявление: «Вышли из печати стихотворения Коста. Цена экземпляров в отдельной продаже 1 рубль, в изящном переплете — 1 рубль 40 копеек. Обращаться в типографию «Северный Кавказ».

В несколько дней книга эта была распродана, а вскоре стала библиографической редкостью. Это и понятно: ее содержание не могло никого оставить равнодушным.

Многие стихи, составившие ее, носили яркую сатирико-обличительную направленность, но сатирические темы разработаны Хетагуровым преимущественно средствами лирической поэзии. Основное же место в книге заняли стихотворения на традиционные лирические темы — о судьбе поэта, интимно-лирические и стихи о горестной доле горской женщины.

В стихах Коста нарисован образ поэта, жизнь которого связана с интересами трудового народа, с борьбой за победу демократических и освободительных идей. Интеллигент-разночинец, в тяжелых материальных условиях получивший образование и надломленный изнурительной борьбой за существование, он беззаветно служит народу во имя торжества идей равенства, свободы и братства. Разработка Хетагуровым темы назначения и судьбы поэта близка к некрасовской. Коста рисует поэта другом народа и врагом господствующих классов, и этим обусловлена его горестная судьба («За заставой», «Другу», «На свежей могиле», «Поэту-мечтателю»). Но наиболее полно идеал поэта, каким он представлялся Коста Хетагурову, выражен в стихотворных посвящениях памяти его великих учителей и предшественников — русских писателей Лермонтова, Грибоедова, Островского, Плещеева. Они рисуются великими художниками, неутомимыми борцами за социальное освобождение и просвещение народа, за революционное обновление мира, за равенство и братство людей.

Значительное место в сборнике составляют интимно-лирические стихи. Созданные в традициях любовной лирики Пушкина и Некрасова, они отличаются целомудренным отношением к любимой, глубочайшим уважением к ней.

Постоянный мотив любовной лирики Коста — мотив неразделенной любви. Не получив ответа на свое чувство, лирический герой стихов Коста заботится о любимой и желает ей счастья. С наибольшей силой этот мотив выражен в стихотворении «Прости»:

Прости! Всю прошлую тревогу
Беру я в спутницы себе,—
Свою печальную дорогу
Я с ней пройду, моляся богу
Лишь только, только о тебе.

Всепрощение в любви — непоколебимое убеждение Коста:

...Покорная только рассудку,
Ты чувство, которое грудь мне сожгло,
Отвергла, как дерзкую шутку...

Но я не дерзал возмущаться, роптать,—
Любовь — этот акт всепрощенья,
Умеет без меры, безмолвно страдать,
Не знает ни злобы, ни мщенья...

Ответить обидой тебе я не мог
За сердце, облитое кровью...
Ты вправе смеяться... Но я,— видит бог.—
Тебе заплачу лишь любовью.

Вместе с тем в понимании поэта любовь — не только «акт всепрощенья», но и тип человеческих отношений, которые в классовом обществе основываются на определенной общественно-социальной почве. Женщины, которых любил Коста,— и Анна Попова, и Анна Цаликова,— были, говоря его же словами, «питомцами существующего теперь порядка» и не «стремились к достижению тех же идеалов», что и Коста. Ни одна из

них не решилась порвать со своей средой, чтобы разделить судьбу опального поэта. Горькое признание звучит в строках:

...Вы любите... вы любите бесспорно
До адских мук, до неги райских грез...

Но слить любовь с любовью поэта
В один аккорд еще боитесь вы;
Боясь суда безнравственного света,
Толпы глумцов и их пустой молвы...

.....
Бессильны вы пред тяжким испытаньем,
Ничтожны вы для радостей певца!

К любовной лирике Коста близко примыкают стихотворения, посвященные нелегкой судьбе горской женщины. Особое место здесь занимает образ матери, которой поэт почти не знал, но к памяти которой обращался в самые тяжелые периоды своей жизни:

Нет, тебя уж никто не заменит,
Дорогая, родимая мать!
Ни во что уже сын твой не верит,—
Истомился, устал он страдать...

Будь бы ты,— как его б ты любила!
Его душу понять бы могла
И, как коршун, его б сторожила
От насилья, коварства и зла.

Ты простила б ему заблужденья,
Приласкала б его на груди,
Объяснила бы жизни значенье
И служила б опорой в пути.

В стихотворениях «На смерть горянки», «Не поможешь ты горю слезами», «Сестра», «Не спрашивай... ты не поймешь, родная» показана рабская доля горянки, чьей судьбой по своему усмотрению вольны были распоряжаться отец, братья, муж. Единственным выходом из гнетущего бесправия нередко была только смерть:

...Кроме рабства, борьбы и труда,
Ни минуты отрадной свободы
Ей бы жизнь не дала никогда...
Хорошо умереть в ее годы.

Как видим, и в лирике Коста сильна обличительная струя. Это было обусловлено прежде всего тем, что поэт боролся за интересы трудового народа. Поэтому его произведения пользовались такой популярностью у читающей публики.

* * *

Сенат не спешил с разбором дела Хетагурова. Пятилетний срок ссылки давно истек, а ответа из Петербурга все еще не было. Это и понятно: разрешить Хетагурову вернуться на родину означало подлить масла в огонь. А огонь на Кавказе, особенно в Терской области, разгорался все сильнее, все нарастало возмущение народных масс произволом царской администрации, грабившими народы князьями и капиталистами, владевшими всеми богатствами и превратившими Кавказ в одну из камер огромной тюрьмы для трудящихся Российской империи. В Петербурге не торопились с разбором жалобы «возмутителя» спокойствия. Наоборот: вокруг Коста начальство плело такую новую сеть ядовитой паутины, из которой он не смог бы выбраться.

И вскоре она была готова. Нужен был только повод — любой повод, — чтобы накинуть эту сеть на поэта. А жандармам и полиции не трудно было его придумать: он, Коста, тайно выезжал во Владикавказ и другие города края для встреч с единомышленниками. С именем Хетагурова связывались все «беспорядки», возникавшие в Осетии, и на него возлагалась полная ответственность за них.

«...Кахановым достигнуто соглашение министров военного и внутренних дел относительно выселения меня из пределов Кавказского края, — пишет Коста в письме в Петербург Андуканару Хетагурову 8 февраля 1899 года. — Куда? На какой срок? — этого не говорят. Что делать? Что предпринять? — Я совершенно теряю голову. Никаких преступлений я за собой не знаю... Ведь это возмутительнейший произвол!..»

А в другом письме — к Юлиане Александровне Цаликовой — Коста писал: «Фини ля комеди... да, фини! Черт знает что! Пенза! Хоть бы Тула или Калуга, — все бы веселее, — пел бы себе: «Тула — родина моя»! а то Пенза! — фи!.. Да, фини!!! Кн. Голицын не пожелал даже видеть меня, — не принял!.. Сегодня он через своего чиновника особых поручений кн. Куракина (все ведь князья!) объявил патронессе — фрейлине, что он теперь ничего не может сделать... Вопрос, говорят, решен в совете (при главноначальствующем)... «За что ж его, за что?» — О!!! Очень много, очень много доводов и неопровержимых доказательств его агитации против правительства и администрации... О, очень много! — с пафосом заявил кн. Куракин на вопрос моей патронессы. — «Какие же, какие доказательства?» — О-о-о!!! Очень много!!! Ему никак невозможно помочь...

Врут, оба князя врут!..»

Девять лет преследовала Хетагурова кавказская администрация, особенно начальник и наказный атаман войск Терской области генерал Каханов. Роковую роль в судьбе Коста играли ревностные слуги российской монархии. О них Коста создал гневную песню — «Прислужник». В этой песне назвал слуг монархии «подлецами, позором и злом, погибелью нашей и бедой». «Прислужник сделался сейчас алдаром, главой всему... Клеветой своей позорит родину, наглец... ближнего бросать, как злобный враг, в огонь готов... серый, как ишак, плевков не может снять с лица... Прислужник для моей страны — ее болезнь, ее позор!»

Она, как и «Додой», стала народной песней. Пели ее везде, и разящая сила слов песни была столь велика, что начальство вынуждено было ловить и строго наказывать тех, кто ее распевал. Полковник Хоранов — помощник Каханова — даже самолично задержал и более недели томил под арестом группу горцев, которые в пути пели песню «Прислужник».

Повод же для избавления Кавказа от «хетагуровского духа» был найден вскоре, как только Коста получил возможность вернуться на родину, в Терскую область.

Вот что писал сам Хетагуров о причинах своей ссылки во второй раз: «...В совете главноначальствующего единственной вешкой аргументацией, решившей вопрос о моей ссылке из пределов Кавказского края, было донесение генерал-лейтенанта Каханова о том, что будто я... К. Л. Хетагуров, в декабре

прошлого года в г. Владикавказе «во главе толпы вооруженных осетин оказал сопротивление военным и полицейским властям».

Выходило так, будто у Коста был склад оружия и он вооружил «толпы осетин», возглавил их и выступил против... «военных и полицейских властей». Какой абсурд! И Хетагуров, опротестовав это гнусное обвинение, писал: «Подлог! Самый невероятный подлог, самый подлый подлог!»

Между тем «сопротивление военным и полицейским властям», как было известно всем, оказал на самом деле однофамилец и тезка Коста Хетагурова...

Другой Коста Хетагуров — поэт, художник, публицист школы Чернышевского, бесстрашный борец против власти самодержца российского и местных правителей — вооружал не менее сильным оружием — идейным и духовным. Его стихи и поэмы, фельетоны, вся его публицистика поднимали массу простых людей на борьбу за свои человеческие права, за свободу.

* * *

...Херсон — южный захолустный городишко на берегу Днепра. Знойный июньский полдень 1899 года. По пыльной немощеной улице, задыхаясь от жары, Коста возвращался из полицейского участка. Серая поношенная черкеска его потемнела от пота, лицо взмокло. Сидеть бы в такой зной под вербами на берегу или купаться в Днепре! А он каждый день в этот час является в полицейский участок на отметку. И попробуй хоть немного задержаться дома! Квартальный не замедлит постучаться в окно и пробросить:

— Опаздываете, господин Хетагуров! В участке беспокоятся!

Что же оставалось делать? Ссылку в Пензу в упорнейшей борьбе ему удалось заменить Херсоном. Сослали его сюда сроком на пять лет. И существовать надо. Не помирать же с голоду! Он искал работу и не находил: его горское платье с кинжалом на наборном поясе пугало многих.

Побывал Коста и в иконописной мастерской и расспросил художников об условиях работы. Оказалось, что они трудятся с шести утра до шести вечера и получают 15 рублей в месяц.

«Нет, избавь меня бог от такого художничества! — подумал Коста, уходя из мастерской. — Лучше голодать!»

С трудом передвигая ноги, Коста добрался до Торгового ряда, где в одноэтажном ветхом домишке он снимал маленькую комнату.

Он вошел в переполненный жильцами, курами и собаками двор. В нос ударила вонь из помойной ямы. Назойливые мухи кружились в воздухе. Грызлись и хрипло тявкали собаки. От них не было покоя ни днем, ни ночью. В довершение ко всему, в комнате по соседству на тромбоне дудел какой-то музыкант.

«Жандармы, мухи, собаки, помойка... Да, лучшей обстановки для писания стихов не найдешь!» — горько усмехнулся Коста.

Он вошел в свою душную комнату. Открыть окна нельзя: комната моментально заполнится мухами. Сняв черкеску и стянув сапоги, Коста повалился на узкую железную кровать. В голове вертелась одна и та же мысль: где же найти работу?

Вскоре принесли свежий номер газеты «Юг».

На последней странице он наткнулся на объявление о том, что редакции газеты требуется опытный корректор. Он вскочил с кровати и быстро оделся — только бы не упустить! Работа, должно быть, подходящая.

Разговор с редактором был недолгим. Условия работы на первый взгляд показались Коста сносными: жалование 35 рублей в месяц, дежурить в редакции ежедневно с четырех дня до трех часов утра.

Редактор взглянул на часы.

— Сейчас четыре, можете приступить к работе.

— Так сразу? — удивился Коста.

— Раздумывать некогда, — небрежно бросил редактор и вызвал секретаря: — Ознакомьте нового сотрудника с его обязанностями.

Коста показали рабочее место и положили перед ним гранки набора очередного номера.

Секретарь немного понаблюдал за тем, как Коста правит корректуру, и остался доволен. Новый корректор не только выправлял ошибки наборщиков — он правил неудачные фразы, убирал в тексте стилистические погрешности.

— Да это ж находка для нас! — порадовался секретарь. — А с виду азиат азиатом, чистый абрек!

Но корректуру подавали медленно. Было уже два часа ночи, а верстка еще не начиналась.

Только в шестом часу утра Коста вернулся домой. Он отработал тринадцать часов и от усталости даже не мог заснуть...

Здоровье его было уже основательно подорвано во время первой ссылки: его изводил костный туберкулез левого бедра.

«И так будет каждый день, — подумал он. — Выдержу ли? При моем здоровье, пожалуй, что и нет! Уж лучше я пойду в поденщики или начну мазать иконы.»

...В тот день Коста с самого утра писал очередную икону. Наконец он отложил кисть, вытер с лица пот: «Ну, хватит на сегодня! — сказал он сам себе. — За такого Христа я меньше пятидесяти рублей никогда не брал. А теперь изволь мазать... за двенадцать! Скупы эти херсонские попы! До чего скупы! Ах, если бы только пришла свобода, плюнул бы я и на этих попов и на иконы! Но где она, где?»

Остаток дня Коста решил отдать любимому делу. Он присел за стол, придвинул к себе чернила и принялся перечитывать новую поэму «Плачущая скала», над которой он уже давно работал.

Знакомый стук в дверь оторвал его от работы: почтальон подал ему толстый синий конверт и удалился. На конверте знакомый почерк. В письме ему сообщали подробности о том, как был... арестован его сборник «Ирон фандыр». Он с ужасом читал в письме эту гнусную историю.

В конце девяностых годов присяжный поверенный Гаппо Баев приобрел типографию, где стал печатать произведения осетинских авторов, — при его содействии увидела свет поэма А. Кубалова «Авхардты Хасана», сборник «Мотылек» и другие книги. Коста ясно понимал разницу в убеждениях его и Гаппо Баева, но другого издателя книг на осетинском языке не было. Обратившись к Баеву с предложением издать «Ирон фандыр», Коста совершенно определенно сформулировал свои условия, согласно которым издатель не имел права вносить в книгу даже минимальных изменений.

Баев горячо — даже слишком горячо! — взялся за дело, тут же забыв об условиях, поставленных Коста. Он исключил стихотворения «Солдат» и «Шинель», а многие другие «отредактировал» по-своему. Ему важнее всего было прославиться изданием этой книги — ведь многие из вошедших в нее стихот-

ворений стали народными песнями и распевались во всех уголках Осетии!

Коста ничего не знал о самочинных действиях издателя, не знал и о том, как продвигалось к выходу в свет его детище.

А происходило оно вот как. 12 сентября 1898 года рукопись «Ирон фандыр» была направлена Цензурным комитетом попечителю Кавказского учебного округа с тем, чтобы она была просмотрена одним из чиновников, знающих осетинский язык. Попечитель Кавказского учебного округа К. А. Яновский поручил это дело законоучителю Ереванской гимназии священнику Христофору Джиеву.

25 октября Джиев представил подробный отчет о содержании книги, в котором писал, что им «тщательно просмотрен рукописный сборник стихотворений под названием «Ирон фандыр». Кратко охарактеризовав содержание сборника, Джиев рекомендовал исключить из него стихотворения «Тревога», «Без пастуха» и «Спой!».

О стихотворении «Спой!» он писал: «Это последнее стихотворение, содержание которого мы привели почти с буквальной точностью, кажется нам несколько сомнительным в цензурном отношении. В нем упоминается о потере земли и воли, смысл же последних стихов остался и вовсе непонятным для нас. В стихотворении не упоминается, кто именно является виновником отнятия «воли» и «земли», и мы со своей стороны не решаемся утверждать, чтобы автор имел в виду в этих строках выразить предосудительную мысль относительно правительства... Но ввиду того, что всегда могут найтись единичные личности, в которых это стихотворение, благодаря некоторой неясности, может, пожалуй, возбудить нежелательные мысли, по-моему, следовало бы выкинуть его или целиком или же те стихи, которые в подлиннике мною отмечены...»

В других стихотворениях Джиев «при всем своем старании ничего предосудительного в каком бы то ни было отношении» не обнаружил, и рукопись с отзывом была направлена в Цензурный комитет.

4 ноября 1898 года было получено разрешение на печатание сборника. Но его содержание уже было широко известно всей Осетии, и кавказская администрация стала чинить новые препятствия. Председатель Кавказского цензурного комитета

15 марта 1899 года получил секретное письмо следующего содержания: «Начальник Терской области рапортом от 10 сего марта донес, что тифлисскую цензурою пропущены в печать стихотворения на осетинском языке Константина Хетагурова, предназначенного к высылке из Кавказа. Стихотворения эти, по сообщению некоторых благонадежных осетин, крайне возмутительного и противоправительственного содержания и, кроме того, воспевают те пороки осетин, к искоренению которых должны приниматься особенно настойчивые меры, как, например, месть; выдающимися по своему неблагонамеренному содержанию являются стихотворения «Солдат» и «Шинель», направленные против воинской повинности. Находя распространение таких стихотворений среди осетинского народа весьма вредным, генерал-лейтенант Каханов ходатайствует о приостановлении их печатания и высылке их к нему для ознакомления и последующего затем доклада командующему войсками округа».

Письмо это было составлено лицом, которое и в руках не держало сборник, представленный Гаппо Баевым для цензуры, — из него ведь уже были исключены стихотворения и «Солдат» и «Шинель».

Цензурный комитет направил Баева с рукописью «Ирон фандыра» к Каханову.

— Ваша работа, господин присяжный поверенный? — спросил Каханов и, взяв в руки листы «Ирон фандыра», презрительно покосился на Баева.

— Что вы, Семен Васильевич, это стихи Хетагурова, — ответил Баев.

— Вот именно! — в бешенстве крикнул Каханов. — Стихи неугомонного бунтаря, посягающего на устои монархии! Кто же хлопочет за преступника, высланного из края? — И, не дождавшись ответа, добавил: — Садитесь, сейчас разберемся. — А потом кивнул в сторону Кубатиева: — Ну, говори, что там?

— Сплошная крамола, ваше превосходительство! — отчеканил Ахтанаго. — Ни одного слова в книге о замирении Кавказа! — Наоборот, все о бедности, о несправии, непристойные стишки о каких-то прислужниках.

— Позвольте, позвольте, алдар! — не удержался Гаппо. — В сборнике есть и хорошие песни о любви... Правда, были и

крамольные стихи... Но мы с отцом Джиоевым постарались убрать их...

— А кто такой Джиоев? — прервал его Каханов.

— Священник Джиоев — преподаватель Ереванской гимназии...

— А какое отношение имеет ереванский Джиоев к делам Терской области? Кто здесь хозяин — я или Джиоев? Или вы, господин присяжный?

— Ваше превосходительство, никто не оспаривает полноту вашей власти, — осторожно заговорил Баев. — Но господина Джиоева уполномочил Кавказский цензурный комитет, и он, с изъятием ряда стихов, разрешил книгу «Ирон фандыр» к печати... Это очень важная книга для осетин, для просвещения края. И законом дозволяется издание таких книг.

— Какое просвещение для дикарей! — резко оборвал его Каханов и бросил не сшитые еще листы сборника на стол. — Приказываю сжечь все экземпляры книги столь возмутительного и противоправительственного содержания! Я приказываю!

— Ваше превосходительство, позвольте объяснить, — робко возразил Баев.

— Что вы еще можете объяснить? — взревел Каханов. — Мне давно известно, что Хетагуров сочиняет и распространяет заразу, возмущает людей...

— Но ведь книга — частная собственность. Издатель уже сильно потратился на нее. Кто ему возместит расходы?

— Это меня не касается!..

— Я буду вынужден жаловаться, ваше превосходительство, — не уступал Баев, чувствуя, что Каханов несколько снизил свой запальчивый тон. — Издание книги разрешено Цензурным комитетом при главноначальствующем на Кавказе, и по закону только он имеет право запрет...

— Право, право!.. А я что же, не начальник области? — прервал его Каханов. — Словом, я запрещаю выпуск книги, о чем особо донесу его превосходительству князю Голицыну. А там жалуйтесь сколько вам угодно, господин присяжный поэт...

Ахтанаго почувствовал, что разговор окончен, и с готовностью поднялся:

— Разрешите исполнить приказание, ваше превосходительство: запретить выпуск книги Хетагурова, как крамольной?

— Исполняйте! — кивнул Каханов. — Свяжите эту крамольную книгу и закройте под замок в полиции!..

На книгу был наложен арест.

Но остановить печатание «Ирон фандыра» Каханову было уже не под силу — 30 марта оно было закончено. Правда, выход сборника в свет был задержан до мая. Благодаря такому стечению обстоятельств книга «Ирон фандыр» вышла в свет 26 мая 1899 года, в день столетия со дня рождения любимейшего поэта Коста — Александра Сергеевича Пушкина.

Дочитав письмо из Владикавказа, Коста прилег на кровать и накрылся тонким одеялом. Жгучая боль в левом бедре усиливалась. Голова его горела, губы запеклись, озноб охватывал все тело. Хорошо бы накинуть на себя еще что-нибудь из одежды, но не было сил подняться и дотянуться до вешалки...

После уколов ему стало легче, и он повернулся к стене, на которой на гвоздике висела вырезка из газеты «Казбек». В этой заметке деликатно сообщалось, что Каханов теперь не начальник Терской области. Коста невольно усмехнулся. Наверное, в том, что «Сеньку Любоедова» убрали из Терской области, есть и его заслуга.

Теперь Коста со дня на день ждал освобождения из ссылки. Но в Петербурге, как видно, не торопились с разбором хетагуровского дела.

Из рамки, стоявшей на письменном столе, на Коста смотрела Анна Цаликова — его горе и радость.

Воспоминания о ней всегда отвлекали Коста от тяжелых дум и помогали легче переносить физическую боль.

Но почему же все-таки Анна так жестока к нему? Почему приходится умолять ее, чтобы она чаще писала ему, делилась с ним своими мыслями?..

Коста перечитал последнее письмо Анны, и оно показалось ему холодным и безразличным. Что же случилось? Видимо, Анна все больше отдаляется от него. Один из друзей писал Коста, что она проводила лето на черноморском курорте, и у нее не хватило и часа, чтобы написать ему душевное письмо и хоть как-то разделить его горе.

Коста придвинул зеркальце и посмотрел на себя. Лицо бледное, глаза запали, на лбу глубокие морщины, усы слегка тронуты сединой. И все это на сороковом году жизни! А что же будет дальше?

«Эх, свободу бы мне, свободу... — со вздохом подумал он. — А там бы можно было разобраться! Может быть, и тяжелую болезнь сумел бы побороть, сокровенные мечты бы исполнились... Да, видно, мое дело все-таки не такое важное, как переговоры с Англией».

Коста отложил зеркальце и взял в руки томик «Ирон фандыра». Наконец-то детище всей его жизни издано. Но как? В какой уже раз Коста перелистывал страницы книги!

Сейчас, отложив сборник в сторону, решил Коста поделиться своими мыслями с Анной Цаликовой:

«Гаппо я и до сих пор не могу простить его фальсификацию в «Ирон фандыре». Уверю Вас, я не могу этой книжки видеть. Если бы я мог собрать все издание и сжечь его, я бы помолодел по крайней мере на десять лет... А о пакостях цензора противно и говорить. Ну, я не оспариваю «Додой», «Катай», «Солдат» и даже «Халон», а на холопскую его трусость перед совершенно невинным стихотворением «Азар», а тем более перед тремя строками в предпоследней строфе стихотворения «Ракас»¹ я уж никак не могу смотреть без омерзения. «Вот такие-то господа, охранители основ и устоев существующего порядка, отбивают всякую охоту к хорошему делу... Ими руководит чисто лакейская тактика — получше прислужиться своему барину и получить лишний раз на чаек — и поэтому-то противно с ними и бороться...»

Рука устала держать карандаш, и Коста отложил письмо в сторону.

Полежав немного с закрытыми глазами, он достал письма Гаппо Баева и цензора Джиеова и принялся их перечитывать.

Баев поздравлял Коста с выходом в свет «Ирон фандыра», сообщал о восторженных отзывах читателей и призывал его

¹ Названия стихов Коста: «Додой» — «Горе», «Катай» — «Тревога», «Халон» — «Ворон», «Азар» — «Спой!», «Ракас» — «Взгляни!...».

быть в дальнейшем в высшей степени осторожным. В том же духе писал и Джиоев.

Мы страдаем отсутствием чувства меры, изрекал он, «и благоразумной предусмотрительности... Иначе как же объяснить, что в сборник попали такие стихи, как «Азар», «Без пастуха» и некоторые другие... Ты себе представить не можешь, в какое затруднительное положение я попал благодаря этим стихотворениям...»

«Подумать только, что они несут! — от негодования Коста даже привстал с койки. — Учат меня, как надо писать стихи и как себя вести! В народе говорят: один не умел похлебку себе сварить, а другого учил пироги печь! Так и Гаппо. Он выступил в роли составителя сборника чужих стихов «Галабу». Но что это за стихи — нет в них ни ритма, ни рифмы, ни даже сколько-нибудь сносного изложения на осетинском языке какой-нибудь осмысленной идеи. Чепуха ужаснейшая! И вот присяжный поверенный учит меня стихосложению и дает советы, как вести себя в жизни. Ну погоди же, я ему, наглецу, отвечу...»

Коста достал чистый лист бумаги и принялся писать ответное письмо Баеву.

«...Я тебя неоднократно самым серьезным образом просил и предупреждал, чтобы ты при издании моих стихов ни на йоту не отступал от рукописи, даже в орфографии. Если я пишу то или другое слово так, а не иначе, то я пишу сознательно, я над ним долго ломал голову и не хочу ни тебе, ни кому бы то ни было позволить изменять их без моего ведома, бездоказательно, и, тем более, в стихотворениях, где не должно быть ни одного лишнего звука... и где каждая буква занимает рассчитанное заранее автором место.

Стихотворение не газетная заметка, которую какой-нибудь трусливый и невежественный редактор может коверкать, как угодно... Ты отравил мне все удовольствие, на которое я рассчитывал с получением книжки... Правильность своего правописания я могу отстаивать где угодно... А тебя, извини меня, я никак не могу признать ни Пушкиным, ни Гротом¹ осетинского языка и потому поступок твой в данном случае считаю преступным, подлежащим юридической и нравственной ответ-

¹ Грот Я. К. (1812—1893) — выдающийся русский филолог, академик.

ственности... Это все я тебе говорю серьезно, невероятно сдерживая свое раздражение...»

Коста передохнул, посмотрел в окно. Дождь не прекращался, на дворе было уныло, не лаяли даже собаки.

«Я,— писал Коста дальше,— никогда своим словом не торговал, никогда ни за одну свою строку ни от кого не получал денег... И пишу я не для того, чтобы писать и печатать, потому что и многие другие это делают.— Нет! Ни лавры такого писания мне не нужны, ни выгоды от него... Я пишу то, что я уже не в силах бываю сдержать в своем изболевшем сердце... Я прихожу в бешенство, когда переделывают даже мои газетные статьи, из-за этого я разорился...»

* * *

И все-таки, как ни досадно, что сделали с книгой ее «редактор» и цензура, она увидела свет! Готовя ее к печати, Коста выделил в ней три тематических раздела: первый — произведения о судьбе народа и о его угнетателях, любовные стихи, второй — басни, третий — стихи для детей. Большую часть в книге занял первый раздел. Его открывали стихи, в которых выражалось поэтическое кредо Коста («Завещание», «Если бы пел я, как нарт вдохновенный» и «Надежда»):

Прости, если отзвук рыданья
Услышишь ты в песне моей:
Чье сердце не знает страданья,
Тот пусть и поет веселей.

Но если б народу родному
Мне долг оплатить удалось,
Тогда б я запел по-другому,
Запел бы без боли, без слез.

В этих словах «Завещания» как бы раскрывался смысл многих стихов Коста, составивших книгу, — разоблачение экономического и общественно-политического бесправия трудящихся горцев. Это и крайнее безземелье горцев («Спой!», «Дой», «Взгляни!»), их нищенская жизнь («Песнь бедняка»).

Особенно тяжелой и безрадостной была жизнь женщины-горянки, вынужденной варить голодным детям камни («Мать»), но остающейся стойкой, сдержанно-суровой в самых трагических обстоятельствах («А-лол-лай»). Необыкновенной силы выразительности Коста достиг в изображении судьбы «безумного» юноши-пастуха, который бросился со скалы на стелющиеся внизу белые облака, чтобы хоть раз в жизни выпасться и отдохнуть.

Рядом со стихами о жизни народа помещены стихи о его притеснителях — «Доносчик», «Всати» и «Пастух». Задолго до выхода в свет книги стихотворение «Доносчик» стало популярной народной песней, распевавшейся под звуки фандыра.

Разоблачая отдельных представителей царской власти, Коста постоянно помнил и подчеркивал, что главный враг народа — самодержавие и что необходимо бороться прежде всего против социального и политического бесправия. Но народ разрознен, у него нет вождя, а без единства борьба за права народные невозможна. Эта мысль звучит в таких стихотворениях «Ирон фандыра», как «Додой», «Взгляни», «Тревога», «Без пастуха», «Раздумье», «Походная песня» и других.

Замыкают первый раздел интимно-лирические стихи.

Второй раздел книги составили десять басен — три из них были переложением басен Крылова («Гуси», «Волк и журавль» и «Воропа и лисица»), остальные в аллегорической форме изображали современную поэту действительность.

Третий раздел Коста назвал «Мой подарок осетинским детям». В него вошли стихи для детей — переводы из книги К. Ушинского «Родное слово» и оригинальные стихотворения поэта. В них Коста тонко и ненавязчиво знакомил детей не только с картинами природы, но и с нелегкой жизнью горцев, говорил им о несправедливости общественного устройства и необходимости борьбы за лучшую жизнь.

Конечно, самые важные в идейном отношении произведения были изъяты из книги, слишком многое было искажено, но книга существовала! И это было большой радостью для всех его друзей, для всех почитателей таланта Коста, большим и замечательным событием в истории осетинского народа!

Коста так разволновался, думая о своей книге, что у него потемнело в глазах, закружилась голова.

Он не помнил, сколько времени пролежал в забытьи.

Когда он очнулся, то увидел около себя врача в очках и пожилую медсестру, которая клала ему на лоб холодный компресс.

— Господин Хетагуров, — сказал врач, — у вас инфлюэнца... Вы меня понимаете? Инфлюэнца! И опухоль на ноге у вас нагноилась. Надо немедленно вскрыть нарыв.

— Но другой доктор говорил, что у меня экзема, — недоверчиво заметил Коста. — Мазь прописал...

— Не знаю, кто и что вам говорил, больной, но я не могу оставить вас в таком состоянии.

Не дожидаясь ответа Коста, врач раскрыл свой саквояж, достал инструмент и кивнул медсестре.

Та зажгла спиртовую горелку и принялась кипятить инструмент.

— Надо бы вас в больницу отправить, — вновь обратился врач к Коста. — Но она, к сожалению, далеко, да и очереди там не дождешься. Но и операцию откладывать нельзя. Так что ложитесь, больной, на живот и не шевелитесь!..

Через несколько дней после операции температура у Коста спала, а еще через неделю он смог, опираясь на палку и прихрамывая, ходить по комнате.

Время тянулось мучительно медленно. Каждый день Коста казался целой вечностью. Но он эту «вечность» коротал то за поэмой «Хетаг», то за легендой «Плачущая скала» или же «мазал» святых.

Все чаще и чаще до Коста доходили слухи, что «дело» его в столице будет пересмотрено.

Это в какой-то мере подбадривало ссыльного, и он старался отогнать от себя тяжелые мысли, даже написал Анне Цаликовой шутовское письмо:

«...Во всяком случае Вы уже можете готовиться к моей встрече. Командовать почетным караулом пригласите... Приветственную речь предоставьте сказать... Вы сами можете поднести лиру из роз и белых азалий... Артиллерия может салютовать 101 выстрелом, а Осетинский дивизион, пройдя поэскадронно

под песню: «Гас цу, галабу!»¹, может закончить встречу общей джигитовкой... Вечером бал... мужчины во фраках и мундирах, дамы в открытых светлых платьях со шлейфами...»

А всерьез в том же письме Коста писал Анне в ответ на ее восхищение Новым Афоном:

«...Что касается до краткого конспекта ваших впечатлений сочинских, афонских, сухумских и пр., то я даже по ним достаточно живо и правдиво рисую вас в этой... действительно чарующей обстановке... Если что портит впечатление по побережью Черного моря, то это монахи. Этот Афон по своему внутреннему содержанию такой притон фарисейства, лжи, обмана и самой наглой эксплуатации человеческого простодушия, что его, невзирая на его редкую красоту, я бы с восторгом предал пламени со всеми его монахами, особенно проважавшими вас со слезами...»

¹ Здравствуй, бабочка!

Часть пятая



...Уж брезжит луч зари, играя
на штыках...
И обновленный мир отдастся
вечно миру,
С презреньем бросив нож,
запекшийся в крови...
Не упрекай меня! — И я настрою лиру
Тогда для равенства, свободы и любви...
КОСТА

1

Луч зари действительно брезжил по всей необъятной империи Российской. Не было исключением и Кавказ, Баку... Тбилиси... Ростов-на-Дону... Грозный... Владикавказ... Вот откуда дул ветер и бушевал в горах и степях Терской области.

Генерал Толстов, занявший пост переведенного в Туркестан Каханова, чувствовал себя как на вулкане.

Карта, развернутая перед ним на столе, пестрела черными кружками. Черные кружки — это города, села и аулы, где одно за другим вспыхивали волнения и бунты. Бастовали нефтяники — грозненцы, шахтеры Садона и металлурги... В десяти километрах от Владикавказа, в селении Гизель, крестьяне избили и выгнали старшину, а на его место поставили того, кого сами захотели. Бесчинствуют и крестьяне огромного селения Христиановское. Буйные дур-дурцы запахали алдарские земли и срубили не свой лес... А сколько их, таких разбушевавшихся сел и аулов! Алагирцы позарились на казенные и церковные земли... В Кабарде и Балкарии, Чечне и Ингушетии, как и в Осетии, нет конца «беспорядкам» и «бунтам». Посылай хоть в каждый аул экзекуцию или разворачивай пушки...

— Почему так беспокойно стало? Где корень? — вслух спросил новый начальник и наказный атаман области генерал Толстов, оторвав глаза от карты.

Но никто из сидевших в кабинете чиновников ему не ответил; его помощники сидели, словно вокруг гроба покойника.

А причины бунтов и беспорядков были известны. В их подъеме и развертывании немалую роль играли «печальные повести» Коста Хетагурова — большая серия статей: «Накануне», «Владикавказские письма», «Письма из Владикавказа», «Неурядицы Северного Кавказа», «Внутренние враги», «Насущные вопросы»... Фельетоны «Чичиков», «Тартарен»... Поэма «Кому живется весело (подражание Н. А. Некрасову)»... Все они в разное время были опубликованы в столичной прессе, в частности в «Петербургских ведомостях», а также в газетах, выходивших на Кавказе и в других городах страны. В них он вскрыл и обнажил коренные причины, поставившие горские народы Северного Кавказа на грань вымирания...

На самом деле: как было не ожесточаться и не бунтовать трудовому горцу или «иностранному», у которого отняли все и силой оружия поставили на краю пропасти!.. Сколько раз докладывали царским правителям разные официальные комиссии о том, что безземельные горцы Нагорной полосы Кавказа и «иностранцы», а также «временно проживающие» в степной части обречены на голодную смерть! Вот факты. В Нагорной полосе Северного Кавказа на одну мужскую душу (женщин за людей не считали) «плодородной» земли в девятисотые годы приходилось: в Осетии — 0,4, в Кабарде и Балкарии — 0,26, Ингушетии — 0,3 десятины... Иначе говоря, горцы выращивали хлеб на голых скалах. Надо было арендовать землю, и для этого нужны были деньги, а их у горца не было... Но все же у казны и богатых землю арендовали из ста семейств: ингушских — 89, осетинских — 84, чеченских — 77... А если бы поделить только лишь казенные земли поровну, каждый безземельный крестьянин смог бы получить пять-шесть десятин плодородного надела... Еще справедливее было бы поделить поровну владения князей и казаков. Ведь были алдарские души, на которые приходилось тысяча и более десятины, а на казацкую в среднем — более пятидесяти десятин отборной пашни...

И как было не бунтовать? Как было погибать безропотно?

— Ваше превосходительство, посмотрите, пожалуйста, вот что возмущает народ к бунтам, — Кубатиев протянул Толстову номер газеты «Северный Кавказ». — Посмотрите на статью «Внутренние враги» Нарона, то есть Хетагурова. А вот еще какие словечки он, тот же Хетагуров, подбрасывает людям, — Кубатиев передал генералу переписанные от руки стихи.

Толстов небрежно взял предложенное и читал:

Ночь близится к концу... Ристалище раздора,
Безумной храбрости, наспल्या, грабежа
Уже становится ареною позора,
Разврата, прошлости, бесчестья, кутежа...

Минуты сочтены, повсюду бьют тревогу...
Уж брезжит луч зари, играя на штыках...

— Это уже не «словечки», алдар,— подумав, сказал Толстов.— Это открытый призыв к бунту, к революции. В этом опасность Хетагурова. Если хотите знать, он враг наш, сильный и серьезный враг...

— А вы бы видели, ваше превосходительство, как горцы встречали своего Хетагурова, когда он вернулся из ссылки на родину,— заметил Кубатиев.— В аулах резали быков, устраивали праздники. Песни про него сочиняли. Теперь у осетин только и слышишь: «К нам Коста вернулся. Теперь нам ни бог, ни царь не страшен».

— Ну, алдар, что же теперь думают знатные осетины? — с иронией спросил генерал.— Уж не передать ли управление Кавказом Хетагурову?

— А что ж думать, ваше превосходительство,— с готовностью ответил Кубатиев.— В ссылке он уже был дважды. А теперь его надо в тюрьму или на каторгу...

Толстов покачал головой:

— Боюсь, что тюрьмой или каторгой хетагуровский дух среди горцев не истребить. Нет, тут надо что-то другое,— принялся вслух раздумывать генерал.— Он, Хетагуров, болен, говорят, плохо себя чувствует?.. Может, его в больницу отправить, под присмотр врачей? Пусть ему там внушат, что он сейчас должен думать только о своем здоровье...

— В больницу? — переспросил Кубатиев, торопливо роясь в своей папке с бумагами.— Тогда, может быть, нам вот это поможет... прошение сестры Хетагурова.— Он наконец разыскал какую-то бумажку и положил перед генералом.

«Покорнейше прошу ваше превосходительство,— прочел Толстов,— сделать распоряжение о назначении комиссии для

освидетельствования умственных способностей душевнобольного родного брата моего Константина Левановича Хетагурова для признания его неспособным и взятия под опеку как его самого, так и его имущество. При этом также прошу о назначении опекуншей над Константином Хетагуровым меня, его родную сестру и единственную родственницу.

Ольга Кайтмазова.

г. Владикавказ, 1903 года 13 августа».

Кубатиев не сводил глаз с генерала.

— И это свидетельствует сестра! — Толстов пожал плечами. — Нет, алдар, не Хетагуров, а эта женщина сошла с ума. Ничего из этого не выйдет. Чепуха все это! Петербург нас самих сумасшедшими объявит...

— Нет, нет, ваше превосходительство! — торопливо заговорил Кубатиев. — Ольга Кайтмазова женщина вполне здоровая, но, как я выяснил, одержима жадностью к деньгам и хочет захватить все остатки отцовского наследства. И я думаю, что есть все основания разобрать ее прошение и признать Хетагурова душевнобольным. Надо только назначить очень авторитетную комиссию.

Толстов брезгливо поморщился, потер переносицу и покопался на Кубатиева.

— А вообще-то, алдар, подло, но придумано не плохо. Пожалуй, вы и правы: в таком деле все средства хороши. — Он обмакнул перо в чернила и, придвинув к себе прошение, размашистым почерком наложил резолюцию: «Врачебному отделу. Прошу выслушать просительницу и назначить в самое ближайшее время медицинское освидетельствование ее брата».

2

Войдя в кабинет начальника области, Коста увидел чинно рассевшихся в креслах чиновников. За столом с окаменевшим лицом сидел сам начальник области и атаман войск генерал Толстов. Чиновники молча уставились на вошедшего.

«Интересно, чем я заслужил такое внимание особого присутствия? — подумал Коста. — Что же они хотят от меня? К чему такой парад? Судья. Прокурор. Жандармские и полицейские начальники... Врач...»

После долгого молчания с места поднялся врач, подошел к Коста и пристально посмотрел в его запавшие глаза.

— Отчего вы так похудели, господин Хетагуров?

— Я еще не совсем здоров,— сдержанно ответил Коста.

Врач взял Хетагурова за руку:

— Как вы себя чувствуете?

— Ничего, хорошо!— Коста с досадой отдернул руку.

— Прошу вас, пройдите по кабинету,— предложил врач, не сводя глаз с Хетагурова.

Пожав плечами и опираясь на палку, Коста сделал несколько шагов вперед и назад. Наконец-то он начинал понимать смысл этой унижительной процедуры.

— Обратите внимание, господа члены комиссии,— громко сказал врач.— Хетагуров невысокого роста, среднего телосложения, ходит, слегка волооча ногу и спотыкаясь...

— Позвольте, но я не спотыкался! — прервал его Коста.

— Речь прерывистая, затрудненная,— продолжал диктовать врач.— Левый зрачок шире правого. Оба зрачка на свет реагируют весьма слабо. Заметное колебательное движение глазных яблок... Вытяните вперед руки, господин Хетагуров! Так, хорошо! Вытянутые руки дрожат... Покажите язык, Хетагуров! В языке заметны фибриллярные подергивания... Закройте глаза и шагните!.. С закрытыми глазами ходит и стоит с трудом...

— Еще бы, господин доктор! — усмехнулся Коста.— С закрытыми глазами я еще могу кому-нибудь из высоких господ наступить на ногу...

Чиновники переглянулись. Толстов побарабанил пальцами по столу.

— Поднимите ногу, Хетагуров! — приказал врач.

— А может, лучше палку? — невесело пошутил Коста и при гробовом молчании чиновников смешно вытянул больную ногу вперед.— За хромую ногу могу «поблагодарить» господина Каханова, дай бог ему укуса самой ядовитой змеи в туркестанской глуши!

— Коленосухожильные рефлексы повышены,— диктовал врач и, вновь обернувшись к Коста, внезапно спросил: — Ваша имя и фамилия?

— Константин Леванович Хетагуров...

— Вы женаты?

— Нет. Некогда было!

— Отчего же? — поднял брови Толстов.

— Изгнание из области и другие причины помешали. Если угодно, я могу подробно рассказать, каким образом и чьими стараниями я дважды высылался из родных мест.

— Нет, нет, увольте, — перебил Коста прокурор и, по примеру врача, так же внезапно спросил:

— Какой сегодня день?

— Четверг, господин прокурор, если вы запомнили!

— А имущество у вас есть? — тонким голосом спросил судья. — Дом, скажем?

— Строил, да не достроил...

— Вы всегда отвечаете на вопросы с таким трудом? — спросил врач.

— Это в зависимости оттого, кто и какие мне задают вопросы, — усмехнулся Коста.

Наконец его отпустили.

Прокурор и судья с важным видом начали перелистывать толстые тома законов, отыскивая в них нужные статьи. Врач перечитывал записи в акте медицинского осмотра и поправлял ответы Хетагурова так, как это нужно было начальству.

3

«Да что это со мной?.. Так и в самом деле с ума можно сойти!» — с испугом подумал он, обтерев с лица холодный пот и только сейчас отчетливо осознав всю мерзость того, что произошло в кабинете начальника области.

Проходя через городской сквер, Коста неожиданно услышал знакомый голос. Он обернулся и, к своему удивлению, увидел священника Александра Цаликова и его дочь Анну. Коста в растерянности обнял Александра, а Анне, не глядя на нее, поцеловал руку. Эта встреча была так некстати, что он не мог сообразить, как ему вести себя.

— Похудел ты, дорогой, похудел! — сказал Цаликов.

— Не до жиру, быть бы живу! — усмехнулся Коста.

— Боже мой! Что опять случилось? Зачем тебя вызывали к начальству? Мы с дочерью давно тебя ждем, переволновались, — встревоженно допытывался Цаликов.

Анна отвернулась и вытирала глаза шелковым платочком. Она была поражена изможденным видом Коста.

— Ничего особенного, друзья. Начальство интересовалось моим здоровьем, — отшутился Коста. — Не так уж дорого стоило бы казне, если бы меня послали на курорт, да поближе к вам, в Пятигорск.

— Ну дай бог, дай бог, — обрадовался Цаликов.

— А как вы поживаете, друзья мои? — спросил Коста. — Елена Александровна, расчудесная Юлия Александровна? Вы все.

— Ничего, дорогой, у нас все в порядке, — успокоил Цаликов. — Ты, Коста, поговори с Анной, она тебе обо всем расскажет, а я побегу: у меня тут дела неотложные... Я не прощаюсь. До вечера, дорогой мой!

Когда Цаликов скрылся за углом, Коста обернулся к Анне:

— Вы тоже приехали по неотложным делам? Так чего же не торопитесь?

Анна растерянно молчала. Она чувствовала, что после Херсона Коста резко изменил свое отношение к ней. Вот уж с полгода они не переписывались. И сейчас Анна приехала, чтобы во всем разобраться. Но когда она увидела Коста похудевшим и осунувшимся, ей стало так тяжело на душе, что она не знала даже, с чего начать разговор. Она поняла, что не вправе ни в чем упрекать своего друга, и желала только одного: увидеть прежнего Коста... Но было слишком поздно: он уже был другим...

— Да, Константин Леванович, я приехала неспроста, — призналась Анна. — Мне нужно поговорить с вами.

— Это хорошо, Анна! Я не ожидал такого подвига с вашей стороны. Пойдемте походим...

— Подвига? — Анна попыталась улыбнуться, но улыбка не получилась. — Какой же это подвиг? Просто я хотела увидеть вас.

Они молча зашагали в сторону Терека.

— Давно вы стали таким несмелым, Константин Леванович? — сдерживая волнение, спросила Анна. — Я перестала вас понимать, вы так изменились...

— Да, Анна! — с трудом выговорил Коста. — Я очень изменился. Но и вы стали другой. Мы даже не заметили, как давно уже перешли с дружеского «ты» на холодно-вежливое «вы»...

— О чем вы говорите, Константин Леванович? Нельзя ли яснее?

— О том, что вам давно уже известно.— Коста остановился, уперся о палку и тяжело задышал.— Вы видите, как я хожу, как выгляжу? Кому я такой нужен? И было бы бесчеловечным с моей стороны делать другого человека несчастным... Вы теперь поняли меня?

— Нет, нет! Вы не должны отчаиваться! — с болью вырвалось у Анны.— Вы еще будете счастливы! Вы должны любить... Любить так же, как раньше... Или вы уже...— она не договорила.

Коста вскинул голову и встретился с Анной глазами. Ах, если бы эти слова были произнесены несколько лет тому назад, когда он так жаждал счастья! А на что он может рассчитывать теперь? Болезнь — костный туберкулез — усиливалась.

Коста и Анна дошли до Терека и остановились у большого серого камня.

— Отдохнем, Анна, я устал,— признался Коста и, присев на камень, устремил свой взгляд на белоснежную вершину горы Казбек.

Анна молча смотрела на волны Терека. Ей вспомнилось детство, юность, проведенные в этом городе, первые встречи с молодым Коста вон в том парке, где сейчас осыпаются пожелтевшие листья каштанов. А как она завидовала Анне Поповой! Вот в этом высоком доме с узорчатым балконом и стеклянным мезонином они когда-то веселились на семейном празднике Поповых. С того дня ее зависть к подруге обострилась еще больше. Но вот судьба смиростивилась над ней. Попова ушла из жизни Коста. Коста полюбил ее, Анну Цаликову. Но она побоялась этой любви, трудной, неустроенной жизни поэта, его беспокойного, тревожного характера. Кажется, Анна только сейчас поняла, какую жестокую она совершила ошибку...

— Вы молчите, Коста? — прервав молчание, спросила Анна.— Неужели вы не верите больше в наше счастье? Я вас правильно понимаю?..



— Не совсем так, дитя мое! — мягко заговорил Коста, взяв Анну за руку.— Я не могу сделать вас несчастной. Вы же мне больше, чем родная!.. Но я всегда был и остаюсь верным своему разуму...

— Вам сейчас, как никогда, нужен друг, Константин Лева-

Коста
Хетагуров



СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ



Из поэтического наследия

ПЕРЕВОД
С ОСЕТИНСКОГО

нович! — пряча глаза, призналась Анна. — И я согласна на все...

— Благодарю вас, Анна, за все хорошее, — взволнованно отозвался Коста. — И прошу разрешить мне напомнить вам мои же строки:

Я отживаю век, ты жить лишь начинаешь, —
Я выбился из сил под бременем труда,
Борьбы и нищеты; ты весело срываешь
Весенние цветы... Я стар, ты молода.

— Какой же вы старый в сорок три года, — перебила его Анна. — Вы просто больны и выдумываете всякие небылицы. Я уверена, что вы поправитесь, и тогда...

— «Ударю я по струнам дрожащею рукою и миру возведу бессмертье и любовь?» — улыбнулся Коста.

— Вот это по-хетагуровски! — оживилась Анна, но Коста вдруг сильно закашлялся и, выпустив руку Анны, отвернулся в сторону. Кашлял он долго, надрывно.

— Не могу утаить от вас, Анна, еще одного происшествия... — глухо сказал Коста, отдышавшись после кашля.

Анна настороженно подняла голову. Коста рассказал подробности того, какому глумлению подвергло его начальство.

— Мне остается одно: уехать поскорее из Владикавказа в Лаба и никого не видеть, пока мальчишки не стали бросать в меня камнями и не кричать вслед: «Смотрите! Смотрите! Гордая красавица Цаликова идет с сумасшедшим поэтом!»

— Как это можно, Константин Леванович?! — побледнев, вскрикнула Анна.

— Прощайте, Анна! Может быть, мы с вами больше и не встретимся... — Коста пожал ей руку и, прихрамывая, зашагал к дому.

— Пойдите, пойдите! — в отчаянии закричала Анна, но Коста, ссутулившись и не оглядываясь, уходил все дальше и дальше.



НАДЕЖДА

Что брови сдвигаешь,
Отец? Ты не прав!
Зачем принимаешь
Ты к сердцу мой нрав?

Чей сын ожиданья
Отца оправдал?
Кто в юности ранней
Ошибок не знал?

По мне ль твоя слава
И гордая честь?
Оставь меня, право,
Таким, как я есть.

Ружья не держу я,
Не мчусь на коне,
И шашку стальную
Не выхватить мне.

Пусть чванный злословит,—
Ему ты не друг!..
Волю наготове,
Исправен мой плуг,—

То дум моих бремя,
То вещей фандыр;
Несу я, как семя,
Поэзию в мир.

А сердце народа!
Как нива оно,
Где светлые всходы
Взрастить мне дано.

Мой край плодоносен,
Мой полон амбар,
И в море колосьев
Ныряет арба.

Не бойся за сына,
Отец! Ты не прав.
Тебя без причины
Тревожит мой нрав!

СПОЙ!

Слыша песнь твою, родная,
Я тружусь, не уставая,
Ты — луч солнца мой,—
Спой, девица, спой!..

Отнял враг свободу нашу...
Спой! Уже страданий чаша
До краев полна...
Как горька она!

Весь народ земля питает...
Ты оплачь меня, родная,—
«Как теперь,— скажи,—
Без земли нам жить?!»

Нам над пашней не трудиться...
Спой! Учи меня молиться!..
Не оставь меня,
Ты — сиянье дня!..

1888

ПРОПАДИ..

Пропади ты, жизнь,
А с тобой и я.
Ты беду мою
Поглоти, земля!

Как змея, напасть
В грудь мою впилась.
Пропади ты прочь,
Злого горя власть!

Изменила мне
Черноокая...
О, позор ты мой!
О, жестокая!

Перед богом ты,
Нет, не мне клялась,
Не мое кольцо
Носишь ты сейчас.

Эх, красавица,
Почему меня
Обманула ты?
Бог тебе судья!

Зиму горскую,
Под весенний звон,
Вспоминаю я,
Как прекрасный сон.

Иль друг другу ласк
Не дарили мы?
Или нежных слов
Не шептали мы —

В ожидании
Благодатных дней?
Как же счастлив был
Я в любви своей!

Кто берет тебя
Навсегда в свой дом,
Пусть дерзнет меня
Превзойти во всем:

Бить без промаха,
На коне лететь,
В горском танце плыть
Или песни петь.

Нарядил в шелка —
Удивил аул!
Стан твой поясом
Дорогим стянул.

Не застежек — звезд
На груди игра...
В золотом шитье
Ты ловка, быстра.

Пропади ты, жизнь,
А с тобой и я!
Ты беду мою
Поглоти, земля!

Как змея, напасть
В грудь мою впилась.
Пропади ты прочь,
Злого горя власть!

ЖЕЛАНИЕ

Завидую тем, кто согрет
На утре безоблачных лет
Теплом материнских объятий.
Завидую тем, кто потом
Дни детства помянет добром,
Кто весел на грустном закате.

Завидую тем, кто в своей
Отчизне среди верных друзей,
Чей пир — это песня с игрою!
Завидую тем, кто с арбой,
Кто с плугом своей бороздой
Проходит рабочей порою.

Завидую тем, кто народ
Мятежною речью зажжет,
Чьего ожидают совета.
Завидую тем, кто любовь,
Честь имени, славу отцов
Хранит и в преклонные лета!

ПЕСНЯ БЕДНЯКА

У людей — простор огромных
Комнат, свет, тепло и лад.
А у нас в пещерах темных
Дети с голоду кричат.

У людей — пиры, удачи,
Свадьбы — мир вокруг поет.
А у нас как будто плачет
Над усопшим тощий кот.

У людей — мясные туши
Провисают с потолка.
А у нас — мышей летучих
Крылья виснут, — вот тоска.

У людей не смеет за год
Мельница зерна поток,
А у нас достатка на год —
Лишь один зерна совок.

А-ЛОЛ-ЛАЙ!..

Мать легко тебя качает.
Лунный луч с тобой играет.
Ты расти, мужай!
А-лол-лай!..

Ты — моя надежда, сила,
Пусть ягненком белым, милый,
Вечно для тебя
Буду я!

Наша жизнь страшнее ада.
Твой отец не знал отрады,
Весь он изнемог.
Спи сынок!

Станешь старше — ожидает
И тебя судьба такая!
Для меня мужай!
А-лол-лай!..

Из простой коровьей кожи
Ты б арчита сделал тоже,
Стал бы голодать...
Время спать!

Ты б дрова таскал, усталый,
Я бы вышла и сказала:
«Мать всегда с тобой,
Ясный мой!

А умру — забудь про горе.
Ты люби родные горы,
Их не покидай!»
А-дол-лай!..

ГОРЕ

Как не рыдать, мои горы, над вами!
Лучше б золою я вас увидал!
О, почему не засыплет камнями
Судей неправедных грозный обвал?..

Пусть хоть единый из них содрогнется,
Пусть его горе народа проймет,
Пусть оно мукой в душе отзовется,
Пусть хоть одну он слезинку прольет!..

Крепко мы скованы вражьей рукою,
Все, что мы чтили, поругано тут.
Отняты горы... Нет мертвым покоя,
Старых и малых тиранят, секут...

Как от свирепого хищника стадо,
Мы разбежались, покинув свой край.
Что же ты, пастырь наш? Где твои чада?
Пламенным словом нас вновь собирай!

Горе! Мы к смерти бежим от позора,
К пропасти злобно нас гонят враги.
Мощью народа взгреметь бы вам, горы,—
Кто-нибудь смелый, скорей! Помогите!

ВЗГЛЯНИ!..

Без матери, брошен отцом,
Отчизну, родительский дом
Оставил я в юные годы.
В чужом, безучастном краю
Весну проводил я свою,
Встречая одни лишь невзгоды.

Сказал я: неси же домой —
В Осетию, в край наш родной,
Свое одинокое горе...
И хлынули слезы из глаз,
И радость в груди разлилась:
Увидел я снежные горы.

Но более бедным, чем я,
Вернувшись, нашел я тебя,
Народ, изнуренный заботой.
Нет места тебе ни в горах,
Ни в наших привольных полях:
Не стой, не ходи, не работай!

Достойных так мало у нас!
И что мы такое сейчас?
И чем мы со временем будем?
Ползешь ты вслепую, мой край.
Взгляни ж, Уастырджи, и не дай
Погибнуть измученным людям!

1885 (?)

ТРЕВОГА

Возлюбленный друг мой! Мой друг незнакомый!
Каким тебя именем надо назвать?

Увижу ль, неясной надеждой влекомый,
Тебя я счастливой, о родина-мать?

Родная земля! Твоим стонам я внемлю,
Звучащим из твердой, гранитной груди...

Мой друг! На земле ты иль скрылся под землю —
Где б ни был, на клич мой скорей выходи!..

Откликнись! Призыв мой звенит и в могиле!
Иль в женской одежде скитайся, скорбя!..

Осетия бедная! Кровью, насильем
Пришельцы-алдары смирили тебя!

Но может быть, в поисках правды желанной
Нарочно права свои вверил ты им?

Умри ж от раскаянья, друг безымянный,
Признавший пришельца алдаром своим!..

МАТЬ

Коченеет ворон...
Страшен бури вой...
Спит на круче черной
Нар, аул глухой.

Долгой ночью лучше,
Чем тяжелым днем...
Светится на круче
Сакля огоньком.

На краю аула
В брошенном хлеву
Нищета согнула
Горькую вдову.

Горе истерзало —
Где уж тут до сна?
Над огнем устало
Возится она.

На полу холодном —
Кто в тряпье, кто так —
Пять сирот голодных
Смотрят на очаг.

Даже волка косит
Голод в холода.
Злая смерть уносит
Слабых без труда.

«Ну, не плачьте! — грустно
Говорит им мать.—
Накормлю вас вкусно,
Уложу вас спать...»

Можжевательник саклю
Дымом обволоок...
Капают по капле
Слезы в котелок...

«Сгинув под обвалом
В день злосчастный тот,
Ты, кормилец, малых
Обманул сирот.

Пятерых покинул...
Что же впереди?
Лучше б сердце вынул
Из моей груди!

Видно, муж мой милый,
Ты жены умней,
Что бежал в могилу
От семьи своей.

Сохнет и хиреет
Сын любимый твой:
Лечь бы нам скорее
Рядышком с тобой!»

Капают по капле
Слезы в котелок...
Можжевательник саклю
Дымом обволоок...

Засыпает младший
Раньше всех детей,—
Изнемог от плача
Лучший из людей.

Подожди ты малость!
Лягут все подряд.
Голод и усталость
Скоро победят.

«Мама, не готово ль?
Дай похлебки! Дай!» —
«Всем вам будет вдоволь,
Хватит через край!»

Котелок вскипает,
Плещет на золу...
Дети засыпают
У огня в углу...

Ветер воеет глуше,
Горе крепко спит.
Сон глаза осушит,
Голод утолит.

На солому клала
Малышей своих,
Грея, укрывала
Чем попало их.

И покуда мрачно
Теплилась зола,
Все насытить плачем
Сердце не могла.

Детям говорила:
«Вот бобы вскипят!»
А сама варила
Камни для ребят.

Над детьми витает
Сон, и чист и тих,—
Ложь ее святая
Напитала их...

КУБАДЫ

Что время года?
На месте сходок,
В худой шубенке,
Седой, горбатый,
Сидит Кубады
С фандыром звонким.

Всю жизнь скитался.
Мальцом остался
Один под небом.
Не раз безродный
Плясал голодный
За корку хлеба.

Босой, избитый,
В душе — обиды,
И грязь на теле.
Жилось не сладко,
Из трещин в пятках
Лягушки пели.

Нет, сгинуть лучше,
Чем биться, мучась,
Добра не зная!
В разлуке вечной
Пусть бесконечно
Ревет родная,

Что не вскормила
Ни солнца силой,
Ни грудью белой,
Что в детстве раннем
Своим дыханьем
Тебя не грела!..

Ему в ненастье
И хлев был счастьем, —
Смотреть на щели
Пастух не станет!
А снег нагрянет —
Поет в пещере!

Овца без пищи?
Он сена сыщет
В чужаке прелом:
Фандыр на диво
Он из наплыва
Березы сделал.

В снегах вершины,
Кусты долины
И дуб угрюмый
К нему клонились
И с ним делились
Заветной думой.

Орла порывы,
Вой вьюг тоскливый,
Гром в поднебесье,
Слеза оленя,
Ручья кипенье —
Пастушьи песни.

Свет после бури,
Краса лазури,
Привал для стада,
Луга и воды,
Пора свободы —
Мечты Кубады.

Но счастье кратко:
Беда украдкой
Придет, не спросит —
И беспричинно
Мясо с овчиной
Волк не уносит.

Пастух отличный
Учет обычно
Ведет, как надо...
Куда ж деваться
Могло пятнадцать
Овец из стада?

Пропали где-то...
Кому об этом
Расскажешь горе?
Ох, треснуть может
Пастушья кожа:
Алдар заперет!

Предвидя порку,
Овец к пригорку,
К селу пригнал он
И убегает
За склон Адая —
К дигорским скалам.

Страной родною
И Кабардою
С фандыром шел он.
В Калаке с пылом
И пел и пил он
В кругу веселом.

Какие песни!
Что их чудесней,
Добрей, милее?
Сказанья эти
То смехом встретишь,
То грусть навеют.

В пути-дороге
Не слабнут ноги,
А песни — краше.
Вот видим снова
Певца седого
В ауле нашем.

Что время года?
На месте сходок
Он восседает,
Слепой, горбатый...
Но кто Кубады
У нас не знает?

РЕДЬКА И МЕД

За глаза, мой друг, не смейся:
Осуждай пороки смело!
Будь ты лучше всех на свете,
Но бахвалиться — не дело!..

Сколько кушаний приносит
Добрая хозяйка! Что же:
Ведь и бедный стол порою
Честь оказывает тоже.

Все же кушанья гордятся
И себя возносят сами,
И одно чернит другое,
Похваляясь пред гостями.

Ну, шашлык, пирог — понятно!
Им всегда почет и слава.
Но вот задын, хомыс, бламык —
Вы бы помолчали, право:

Вас едят — и то спасибо!..
Вот и редька нос задрала.
Горло жжет и дурно пахнет,
О себе же мнит немало!..

Так однажды на обеде
Редька тоже очутилась
И украдкой, потихоньку,
Близко к меду подкатилась.

«Как вкусна я с этим медом!» —
Прошептала редька гостю.
«Обо мне не беспокойся:
Я и без тебя ведь вкусен!» —
Мед ответил ей со злостью.

УПРЕК

Кроткого обидишь —
Он и ущемлен!
А упрямцу, видишь,
Твой упрек смешон.

Как-то мишка начал
Волка укорять:
«Серый, честь ты нашу
Замарал опять.

Всех ты силой губишь...
Скор ты на язык,
А просить не любишь,
Нападать привык.

Если б стал обжора
Гордостью зверей,
Ты тогда, без спора,
Был бы всех знатней!

На обжорство злое
Честь я не менял.
Ребра от побоев
Кто из нас терял?

К овцам даже в стужу
Не кидался я.
Что позорней, хуже,
Чем судьба твоя?»

Волк ответил: «Это
Правда!» — и ушел.
И тотчас же где-то
Закричал козел.

1899

ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ

Дети Осетии,
Братьями станем
В нашем едином
И дружеском стане.

С нами высокое
Знамя народа.
К свету, с победною
Песней похода!

К правде сверкающей
Смело шагайте!
Труссы, бездельники,
Прочь! Не мешайте!

ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ

Торжествуй, дорогая отчизна моя,
И забудь вековые невзгоды:
Воспарит сокровенная дума твоя —
Вот предвестник желанной свободы!

Она будет, поверь, — вот священный залог,
Вот горящее вечно светило,
Верный спутник и друг по крутизнам дорог,
Благородная, мощная сила!..

К мавзолею искусств, в храм науки святой
С ним пойдешь ты доверчиво, смело,
С ним научишься ты быть готовой на бой
За великое, честное дело.

Не умрет, не поблекнет в тебе уж тогда
Его образ, задумчивый, гордый,
И в ущельях твоих будут живы всегда
Его лиры могучей аккорды...

Возлюби же его, как изгнанник-поэт
возлюбил твои мрачные скалы,
И почти, как святыню, предсмертный привет
Юной жертвы интриг и опалы!..

16 авг. 1889 г. Пятигорск

НА СМЕРТЬ М. З. КИПИАНИ

Умер! — И это холодное слово
Так глубоко огорчает подчас, —
Умер, и, как обездоленный, снова
Плачешь и стонешь, родимый Кавказ.

Плачь! Потерял ты достойного сына, —
Все, что ты нашей семье завещал, —
В образе скромном простого грузина
Все незабвенный наш брат совещал.

Много ль их было, способных народу
Так же всецело отдаться, любя,
Так же бороться за нашу свободу,
Светоч познания в сакли внося?

Нет, их немного, — и эту потерю
Наши потомки припомнят не раз.
Плачь! — я в грядущее наше поверю,
Слушая плач твой, родимый Кавказ!

1891

ЗАВЕЩАНИЕ

Довольно, довольно! Забудем бывшее,—
Упреки и слезы напрасны теперь...
Нам надо расстаться... Бессилье ли злое,
Иль страх малодушья,— не знаю, поверь,—

Борьба ли неравная, позор ли паденья
Покончить все счета земные велит,—
Вопрос предоставим толпе на решение,—
Ты видишь,— кровь стынет... грудь ноет, болит...

Жалеть бесполезно, роптать не умею...
Прости, коль напрасно себя я сгубил,—
Прости! Но, клянусь тебе смертью моею,
Свободу я больше, чем славу, любил...

Для ней не щадил я ни жизни, ни силы,—
Клянусь,— и теперь не жалею о том...
Но... слушай, товарищ,— пред дверью могилы
Тебя я, как брата, молю об одном:

Ты помнишь теснину за черной скалою,
Где, пенясь, два горных потока шумят
И, дружно обнявшись, веселой волною
Струи свои к морю беспечно катят...

Где в складках утеса, над страшным обрывом
Гнездится отважно аул небольшой,—
Там в сакле у башни, подернутой дымом,
Меня ожидает отец мой больной...

Старик, защищавший когда-то так смело
Суровую волю, суровый Кавказ...
О друг мой! сиротство его тяготело .
Всю жизнь надо мною, гнетет и сейчас...

Товарищ! Навряд ли поведать другому
Решился б я этот ужасный секрет,—
Открыл лишь тебе, чтоб страдальцу родному
Ты снес мой сыновний поклон и привет...

Скажи, что я жертва пустых увлечений...
Был молод... Теперь на коленях молю
Обнять меня снова... Исторгнув прощенье,
Спешу осенить им могилу мою...

1891 (?)

Бестрепетно, гордо стоит на утесе
Джук-тур круторогий в застывших снегах
И, весь индевея в трескучем морозе,
Как жемчуг, горит он в багровых лучах.

Над ним лишь короной алмазной сверкает
В прозрачной лазури незыблемой Шат;
У ног его в дымке Кавказ утопает,
Чернеют утесы и реки шуршат...

И луг зеленеет, и серна младая
Задумчиво смотрит в туманную даль...
И смутно, на эту картину взирая,
Познал я впервые любовь и печаль...

1893 (?)

¹ Дикий баран. (Примеч. автора.)

Да, встретились напрасно мы с тобою,—
Не по пути нам, милое дитя —
Не будем жить мы радостью одною,
Твоею стать не может скорбь моя...

Весне нужны чарующие трели,
Тепло и свет, широкий небосвод,
Цветы и сны, нужна ей жизнь без цели,
Без мрачных дум, печали и забот...

У осени другое назначенье,—
Ей дай шипы, а не гирлянды роз,
Борьбу и труд, отвагу и терпенье,
В ней каждый шаг — мучительный вопрос...

Не сблизиться им радостью одною,
И не сплотит их общая печаль...
Да! — встретились напрасно мы с тобою,—
Не по пути, не по пути нам,— жаль!..

1893 (?)

ПАМЯТИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Разбита стройная, чарующая лира,
Повержен жертвенник, разрушен пышный храм,—
Навеки улетел «соловушка» от мира
В страну далекую, к далеким небесам...

И стало тяжело на сердце, безотрадно,
И мрак, холодный мрак сгустился над душой,—
Удар безвременный, и как он беспощадно,
Как неожиданно направлен был судьбой!

Оценим ли теперь великую потерю,
Горячая слеза найдется ль у кого?
Тогда лишь в будущность народа я поверю,
Когда он гения оплачет своего;

Когда печаль свою он глубоко сознает
И вещи слова поэта он поймет:
«Пусть арфа сломана,— аккорд еще рыдает...
Не говорите мне: он умер,— он живет!»

1893

ПАМЯТИ А. Н. ОСТРОВСКОГО

Угас и он, как витязь благородный,
Не кинув бой неравный до конца,—
И эта смерть печалью безысходной
Наполнила все чуткие сердца.

Уж нет его среди друзей послушных,
Соратников под знаменем любви...
Не плачь о нем! Ты, вместо слез ненужных,
Себя его идеей вдохнови.

Невежеством беспомощно сраженный,
Ты не сходи с тернистого пути,—
Иди за ним! И факел, им зажженный,
Раздуй сильнее и всюду им свети.

Пусть умер он для новых вдохновений,
Для новых дум, печалей и труда,
Ведь не умрет его великий гений
В его родном народе никогда.

1894

Я не пророк... В безлюдную пустыню
Я не бегу от клеветы и зла...
Разрушить храм, попать мою святыню
Толпа при всем безумье не могла.

Я не ищу у сильных сострадания,
Не дорожу участием друзей...
Я не боюсь разлуки и изгнания,
Предсмертных мук, темницы и цепей...

Везде, для всех я песнь свою слагаю,
Везде разврат открыто я корю
И грудью грудь насилия встречаю,
И смело всем о правде говорю.

На что друзья, когда все люди братья,
Когда везде я слышу их привет?
При чем враги, когда во мне проклятья
Для злобы их и ненависти нет?

В тюрьме ясней мне чудится свобода,
Звучнее песнь с бряцанием цепей,
В изгнание я дороже для народа,
Милее смерть в безмолвии степей...

При чем толпа? Ничтожная рабыня
Пустых страстей — дерзает пусть на все!
Весь мир — мой храм, любовь — моя святыня,
Вселенная — отечество мое...

1894 (?)

УТЕС

I

Мрачного утеса только что коснулся
Первый луч восхода, весело, шутя...
И утес холодный ожил, улыбнулся,
Запылал румянцем ярким, как дитя...

На челе высоком, зеленью обвитом,
Ландыш и азалья снежные цветут,
На порфире царской, вышитой фельзитом,
В золотых узорах блещет изумруд...

Все залито солнцем — лес, долины, горы...
Серебрятся реки... беспредельна даль...
Воздух наполняют радостные хоры...
Чужды великану горе и печаль.

II

Показалась туча из-за снежной цепи...
Почернели горы, багровел закат...
В синеву густую облачились степи...
Потрясал ущелье громовой раскат...

Застонали скалы, повалились ели...
Под ударом бури дрогнул великан...
Ландыши измяты, камни потускнели...
Хлынули потоки из глубоких ран.

Наступила полночь, тихая, немая...
В сон невозмутимый погружен утес...
Только по ланитам, змейкою сбегая,
Падают беззвучно в бездну капли слез...

1894 (?)

ПАМЯТИ А. С. ГРИБОЕДОВА

Убит... За то ль венец терновый
Сплел для него коварный рок,
Что озарил он мыслью новой
Всю Русь родную, как пророк?!

Зачем он шел, как раб покорный,
В страну фанатиков — врагов,
Когда уже нерукотворный
Был памятник его готов?

Но пусть судьбы предначертанья
Обычным движутся путем!
Творец великого созданья,
Мы смело за тобой идем!

Не малый срок твой дивный гений
Дал поколениям для того,
Чтоб образы твоих творений
Уж не смущали никого.

Но нет!.. Борьбу окончить эту
Не скоро правде даст порок,—
Ведь бедный Чацкий твой по свету
Все тот же ищет уголок.

1895

Не верь, что я забыл родные наши горы,
Густой, безоблачный, глубокий небосвод,
Твои задумчиво-мечтательные взоры
И бедный наш аул, и бедный наш народ.

Нет, друг мой, никогда! Чем тягостней изгнание,
Чем дальше я от вас, чем бессердечней враг,
Тем слаще и милей мне грезится свиданье
Со всем, мне дорогим в родных моих горах.

Не бойся за меня! Я не способен к мщению,
Но злу противиться везде присуще мне.
Не бойся! Я и здесь не дамся обольщению
Красавиц, чуждых мне по крови и стране...

Люблю я целый мир, люблю людей, бесспорно,
Люблю беспомощных, обиженных, сирот,
Но больше всех люблю — чего скрывать позорно? —
Тебя, родной аул и бедный наш народ.

За вас отдам я жизнь... все помыслы и силы,
Всего себя лишь вам я посвятить готов...
Вы так мне дороги, так бесконечно милы,
Что сил нет выразить, что высказать нет слов!..

1896 (?)

Волшебной сказкою, свободным измышленьем
Мне кажутся порой события этих дней,
И вера чистая колеблется сомненьем,
И радость светлая тускнеет вместе с ней.

И мысль усталая пред вечною дилеммой
Становится в тупик,— ужели он не бог?
Но разве бы тогда он все углы вселенной
Так ярко озарить своим явленьем мог?

А если это так, то почему с любовью
Две тысячи уж лет враждует дерзко зло? —
И человечество меч, обогранный кровью,
С проклятьем до сих пор забросить не могло?

И почему его божественное слово
Нас чувством не могло любовным вдохновить
И всех нас, всех людей, для счастья мирового,
Как братьев и друзей, в одну семью сплотить?

Но... нет... не то... не то... И вновь сомненья эти
Бледнеют, рушатся... Опять не стало их...
И вера крепнет вновь, ведь два тысячелетья
В сравненье с вечностью — один лишь только миг.

1896 (?)

ВЕСНА

Весна, весна! Из края в край
Песнь прозвенела вновь:
Привет тебе, веселый май!
Привет тебе, любовь!..

Широким бархатным ковром,
Взор ласково маня,
Под ярким голубым шатром
Раскинулись поля...

Рокошет весело ручей,
Шумит беспечно бор,
Из ослепительных лучей
Природа шьет убор...

И всюду жизнь, тепло и свет,
Приволье и цветы...
Везде любовь, везде привет
И всюду, всюду ты!..

1900 (?)

В РЕШИТЕЛЬНУЮ МИНУТУ

Я шутил, я солгал... Я невольно солгал,
Ввел невольно тебя в заблужденье,—
Я в безумном порыве любовью назвал
Одурающий чад увлеченья...

Далеко от родных, далеко от друзей,
Изнывая в тяжелом изгнание,
Отдаваясь тоске по отчизне моей,
Я чуждался надежд и желаний...

Как осенняя ночь, как кошмар, как недуг,
Дни за днями ползли без просвета,
Будто вымерло все,— я не видел вокруг
Ни улыбки, ни слез, ни привета.

Вдруг встречаю тебя... И зачем? Для чего?!
Взор твой вызвал меня из покоя,
И от ласки твоей, от тепла твоего
Встрепенулось в груди ретивое...

Я тебя полюбил больше всех из людей
За сердечность твою, за участие,
Но ты в чувстве моем, как в бряцанье цепей,
Не найдешь ни покоя, ни счастья...

Я не стою любви, я не смею любить,—
Меня родина ждет уже к бою,
Коль врага ее мне не удастся сразить,
То не встретимся больше с тобою...

1901 (?)

НОЧЛЕГ

Румяный луч заката
На Эльбрусе погас...
Пригнал к пещере стадо
Пастух в урочный час...

Собрались понемногу
Товарищи его...
Не видно — слава богу! —
Потерь ни у кого...

Коров уж подоили,
Загнали в баз телят...
В пещере разместили
Овец и их ягнят.

Какой шалун козленок!
Залез под самый свод;
Малюсенький ягненок
Надулся,— все ж сосет.

Огонь уж раздувает
Проворный мальчуган...
Очаг дымит, пылает,
Поставлен и таган...

Вот все к огню подсели...
Котел уже кипел...
Пока смеялись, пели,
И ужин подоспел.

Чурек сухой, ячменный,
Похлебка с молоком —
Вот ужин неизменный,
Приправленный трудом...

И сыты, слава богу!
Пошли к своим местам
И смолкли понемногу...
Покойной ночи вам!

1901 (?)

ДРУЗЬЯМ-ПРИЯТЕЛЯМ
И ВСЕМ, КТО НАДОЕДАЕТ МНЕ
СЛЕЗОТОЧИВЫМИ СОВЕТАМИ

I

Друзья, истошилось терпенье,—
Довольно о завтрашнем дне!
Не надо ни слов сожаленья,
Ни вздохов... На что они мне?!
Оставьте! Слепому кумиру,
Как вы, я не стану служить,—
Я страстно люблю свою лиру,
Люблю с ней скитаться по миру,
Люблю на свободе пожить.

II

Вы жизнь превратили в забаву,
Гнушаетесь честным трудом
И, совесть меняя на славу,
Насилье зовете судом.
Вы были всегда палачами
И прав, и свободы чужой,
Топтали святыни ногами.
Так будьте же счастливы сами
С такой озверелой душой!

III

Вы создали право владенья,
Где так обездолен народ,
Где с песней о вечном терпенье
Он хлеб добывает с болот.
Вам нужны обширные виллы
С фонтанами в пышном саду.
И стройте! Земли для могилы,
Когда поизносятся силы,
Я сажень повсюду найду...

IV

Мне вашего счастья не нужно,—
В нем счастья народного нет...
В блестящих хоробах мне душно,
Меня ослепляет их свет...
Их строило рабство веками,
Сгорают в них стоны сирот,
В них вина мешают с слезами...
Нет, будьте вы счастливы сами
Где так обездолен народ!

V

Где золото, там умирают
Волшебные грезы любви,—
Недаром его обмывают
Потоки преступной крови,
Недаром и песню сложили
Ему, под бряцанье цепей,

Все те же, кого вы судили...
Нет, сами живите, чем жили! —
Я жизнью доволен своей.

VI

Оставьте пустое стенанье,
Советы и вздохи по мне!..
Коль вам непонятно сказанье:
«Не думай о завтрашнем дне».
Служите слепому кумиру,
А мне не мешайте служить
Всеобщему братству и миру...
Отдайте мне посох и лиру,—
Хочу на свободе пожить!..

1901 (?)

ПАМЯТИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Зачем, поэт, зачем, великий гений,
Явился ты так рано в этот мир,
Мир рабства, лжи, насилья и гонений,
Мир, где царил языческий кумир?..
Зачем судьба с таким ожесточеньем
Гнала тебя из-за пустых интриг
Трусливых бар, взлелеянных бездельем,
Когда клеймил их твой могучий стих?
Ты нужен был не царству бар и рабства,
А вот теперь, когда талантов нет,
Когда нас всех заело декадентство,
О, если бы ты жил теперь, поэт!
Твой мощный стих, могучие аккорды
Рассеяли б остаток прежней тьмы,—
Тогда бы по пути добра, любви, свободы
Пошли бы за тобой вперед со славой мы.

1901

* * *

Я смерти не боюсь,— холодный мрак могилы
Давно меня манит безвестностью своей,
Но жизнью дорожу, пока хоть капля силы
Отыщется во мне для родины моей...

Я счастья не знал, но я готов свободу,
Которой я привык, как счастьем, дорожить,
Отдать за шаг один, который бы народу
Я мог когда-нибудь к свободе проложить.

ЗИГЗАГИ МЫСЛИ В БЕССОННИЦУ

Как долга беспросветная ночь!..
Как еще далеко до восхода!..
Но... и днем не могу я помочь
Безысходному горю народа...

ПРОСТИ

Прости! довольно,—
Мне очень больно,
Что раньше не узнал тебя.
Любить поэта
И мненья света
Бояться, значит — лгать, любя.

Зачем? не надо,—
Ты будешь рада,
Когда расстанешься со мной.
Ты так прекрасна,
А жизнь ужасна
В борьбе с назойливой нуждой.

От колыбели
Для праздной лени
Судьба взлелеяла тебя.
Обжорство, скупость,
Притворство, тупость —
Все, все прощалося, любя.

Наука — скука!
Твоя наука —
Поменьше думать, меньше знать.
Быть интересной,
Казаться честной,
Меж тем обманывать и лгать...

Нет, нет! не надо,—
Ты будешь рада
Не слышать песен струн моих.
Забудь поэта!
В болоте света
Авось отыщется жених...

ФАТИМА

КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ

Посвящение

Ах, с каким безграничным восторгом, дитя,
На руках из мишурного света
Я унес бы далеко, далеко тебя
И любил бы любовью поэта...

Детский слух услаждал бы я лирой своей,
И под звуки ее безмятежно
Засыпала б ты сладко на груди моей,
А я пел бы, баюкал бы нежно...

Много, много сложил бы я песен тогда
На чарующем лоне природы
О восторгах любви, наслажденьях труда
И о светлом блаженстве свободы...

I

Полна кунацкая Найба
Привета ласковых затей,
Немало из Чечни, Гуниба
И славной Кабарды гостей,

Встречая здесь прием радушный,
Досуг тревоги боевой
Беседе отдает живой.
Ада́ту родины послушны,
Храня обычай старины,
Кавказа верные сыны,
Будь кровники — без злобы тайной,
При встрече званой иль случайной,
По возрасту, по праву лет,
Здесь делят ужин и обед,
И, как друзья, полны одною
Лишь мыслью о приволье гор,
Ведут за чашей круговую
Согласный, долгий разговор...
Здесь кунаки равны, как братья;
Их жизнь священна, как Коран;
За их обиду мусульман
Клеймит народное проклятье.
Беглец, измученный дорогой,
Подчас беспомощный абрек,
Больной, слепой, старик убогий —
Привет им, отдых и ночлег.
Сюда на праздник годовой
Идут красавицы аула
И водят танец круговой.
Здесь много юношей взгрустнуло,
Читая строгий приговор
Во взглядах девы... Здесь немало
Горянок шепоту внимало,
Стыдливо потупляя взор...
Наиб уж стар. Наиб уж сед...
Не годы, не боязнь могилы
Сломили мужество и силы
Питомца доблестных побед.

Давно ль, как юноша беспечный,
Он, ветер, рассекая встречный,
Отважно на коне скакал!
Давно ль в морщинах диких скал,
Добычу смело нагоняя,
С винтовкой за плечом весь день
Бродил он, устали не зная...
Давно ль за кровником, как тень,
Гоняясь в темноте ночной,
Он к утру приносил домой
Его ружье, кинжал, папаху...
Хвала всеильному аллаху!
Не будем воспевать любовь,
Не станем говорить о чести
Там, где еще законы мести
Сулят охотно кровь за кровь...
Но горе старому джигиту,
Когда он на закате дней
Отпустит выместить обиду
Последнего из сыновей,—
Разбита вся его опора,
Погибли радость и покой!..
Под песнь унылую укора,
Впотьмах, неведомой тропой,
Как вор, бредет он торопливо
Тогда к могиле... Как пугливо
Глядит он на своих друзей,
Как ненавидит он людей!..
Наиб... Горька его утрата,
Печаль безмерна,— видит бог,—
Любил он сына, Джамбулата,
Но... горе пересилил долг:
Наиб обязан для него
Предать минувшее забвенью,—

Судьба вручила попеченью
Печальной старости его
Красавицу — приемыш-дочь...
Его утеха вся — Фатима;
Он занят ею день и ночь,
И им, как клад, она хранима.
Дитя, ты видишь, сединою
Сребрится голова моя,—
Быть может, скоро надо мною
Холмом насыплется земля...
В тот день, как мать твоя скончалась
И бесприютной сиротой
В ауле нашем ты осталась,
Я взял тебя... Обет святой
Тогда я дал пред стариками
Бережь тебя, как дочь свою,
И с лучшим князем между нами
Скрепить законом жизнь твою.
Как роза южная весною
Цветет украдкою в горах
И украшает их собою,
Так точно на моих руках
И ты росла и расцветала...
Молва о прелести твоей
Не раз ко мне уже сзывала
Лихих князей и узденей...
Ужель из них твое вниманье
Ничей не подкупает взгляд?
Они руки твоей хотят
И ждут меня... Я жду признанья...
Фатима, быстротечны лета,
Тебе быть матерью пора...
Законы святы Магомета,
Их неминуема кара...

Попрать адаты и преданья
Отцов — преступно... Дочь, поверь,
Ни в ком не встретим состраданья,
Не дав ответа и теперь...
Фатима, не терзай так больно
И так истерзанную грудь!
Она измучилась довольно
За Джамбулата... Не забудь,—
Вы только были мне отрадой.
По смерти матери его...
Я вас растил... И вот награда:
Пять лет, как вести от него
Я не имею, а в тебе —
Ни капли жалости ко мне!..
Фатима... Как?.. Ужели слезы?..
Ты плачешь? Дочь моя, о чем?
Мои слова — не брань угрозы,
А скорбь о возрасте твоём...
— Отец, зачем терять напрасно
Слова и время? Знаю я,
Бороться нам не безопасно...
Что делать!.. Видишь — я твоя...
Отдай меня, кому желаешь,—
Тебе простит и бог и свет,
Мне все равно... Здесь речи нет
О счастье...

— Дочь, ты убиваешь
Бедой согбенного отца!
Клянусь вот этой сединою,
Клянусь величием творца,
Что я живу теперь одною
Мечтой о счастье твоём...
Права отцов, адатом силу
И мысль о выборе моем

Я унесу с собой в могилу,
Едва сердечное признание,
В награду за мои страдания,
За все насмешки надо мной
Судьбы злорадной, я услышу
Из уст Фатимы дорогой...
Дитя, открой страдальцу душу,
Молю тебя...

— Изволь, отец.

Когда измученный гонец
С Чечни к нам в полночь прискакал
И пред старшинами аула
Здесь со слезами рассказал
О притеснениях гяура...
Когда вы все — и стар и млад —
С оружием за Сулак спешили,
Ты помнишь, как тебя просили
И я, и сын твой Джамбулат
Пустить его... Ты не забыл
Его проклятья и молитвы...
Твой сын, я знаю, молод был
Для ужасов кровавой битвы,
Но он исторг твое согласие...
Безумная! Как заодно
С детской мыслью увлеклась я!..
Но так нам, видно, суждено!..
Ты помнишь, ни один в походе
Не красовался на коне,
Как он... Отец, то не войне
Служить хотел он — нет! — свободе...
Свободе!.. Он любил тогда...
Прости, отец, мое признание!..
Пять лет в бесплодном ожиданье
Прошли, промчались без следа,

Как ряд ночей, без сновиденья,
Без искры света... Но, поверь,
Порой надежда и теперь
Сменяет горькое сомненье,—
Я жду его... Но что мечты
И клятвы девушки презренной!
Они не стоят, чтобы ты
Закон отцов попрал священный...
Должно быть, так угодно року,
Что друг для друга мы равно
Погибли с ним давно, давно...
Табу¹ великому пророку!..
Изволь, отец, я покоряюсь
Своей нерадостной судьбе:—
Преступным бременем тебе
Я оставаться не решаюсь,—
Сдаюсь пред силою адата...
Нарушу юности обет...
Забуду имя Джамбулата...
И выхожу — позволишь, нет —
За Ибрагима...

— Дочь?!

— Сам бог

Его в удел мне посылает...
— Но он ничтожен, он убог,—
Опомнись, дочь!..

— Отец, пылает

Любовью сердце в нем давно...
— Но он не князь...

— Мне все равно...

Там, где нашла в себе я силу
Зарыть мечты мои в могилу,

¹ Слава, хвала. (Примеч. автора.)

Поверь, отец мой дорогой,—
В труде, облитом потом, кровью,
Согретом правдой и любовью,
Найду отраду и покой...
Отец, ты выслушал признание
Безумной дочери твоей,—
Суди ж ее без состраданья,
По слову совести своей,
Суди преступницу скорей!..—
Старик прикрыл глаза рукою...
Он только мог ответить ей
Упавшей на ковер слезою...

II

Свежо... Полночную прохладой
Повеял ветерок из гор...
Стоят возы живой оградой...
Пылает небольшой костер...
Быки пасутся над рекою...
Вот кто-то песню затянул,—
Звучат болезненной тоскою
В ущельях песни... Вот зевнул
Какой-то дремлющий... Привольно
На мягкой зелени лежать
В такую ночь,— начнешь невольно
Бессвязно, без конца считать
В пространстве тлеющие очи;
Меж тем блуждают без конца,
Дивясь премудрости творца,
И думы в полумраке ночи...
Как сладко за свою свободу,
Как мысль беспомощную жаль!
Обнять весь мир, постичь природу,

В надзвездную проникнуть даль —
Увы, ей не дано судьбою!..
Мелькают тени за арбою...
Один хлопчет у костра —
Готовит ужин... Но пора!
Черкесы чинно у огня
Садятся стройным полукругом...
Обычай родины храня,
Два отрока, подобно слугам,
По старшинству всех наделяя,
Обносят чашами их ряд...
Картину ярко озаряя,
Дрова, как факелы, горят...
Похлебка и чурек ячменный!..
Кому их труд тяжелый мил,
Как ласки дружбы неизменной,
Тот ужин бы их полюбил...
А мы, читатель мой бесценный,
Мы любим негу и покой,
И в нашей праздности вседневной
Нам нужен ужин не такой!
Но тише! Юному черкесу
Вблизи слышались шаги...
— Благослови, аллах, трапезу,
Пророк вам всюду помоги!
С приветом путник неизвестный
Явился к ним из-за арбы.
Все приподнялись...
— Будь небесным
Послом и гостем, коль рабы
Твои достойны этой чести...
За скромный ужин не брани...
Поведай радостные вести, —
Откуда, для кого они?

— Не мне, несчастному лезгину,
Быть светлым вестником небес;
Рукой бессильной я не сдвину
Загробной вечности завес...
Оставшись круглым сиротою,
Я вырос на чужих руках,
Считая матерью родною
Старуху о пяти зубах.
Она и ветхая лачуга,
Чурек на ужин и в обед,
Солома, сказки в час досуга —
Вот все, и детства нет как нет!..
Я подрастал... Старуха знала,
Чему питомца научить,—
Она меня безбожна гнала
Князей за пиршеством смешить...
Я пел, плясал без утомленья —
И мог остатками стола
Кормить старуху... Как мгновенье,
И юность светлая прошла...
Давно, давно тот возраст минул,
Давно старухи этой нет;
С тех пор, как я аул покинул,
Промчалось много, много лет...
С тех пор я странствую немало
С сумой и посохом своим,—
Пою для всех и где попало...
Везде привет, везде любим...
Когда-то жизнь во мне кипела,
Вперед без страха я глядел,—
Искал борьбы, искал я дела...
Был близок к ним... но заболел...
Очнулся я в стране далекой,
Среди неведомых степей,

Без сил к борьбе с судьбой жестокой,
С насмешкой чуждых мне людей...
Жизнь стала для меня укором,
А жить хотелось, видит бог!..
Меж тем моим усталым взорам
Повсюду чудился острог...
Как я хотел предать забвенью
Порывы мысли роковой!..
Как челн над темной глубиной,
Я был покорен дуновенью
Едва приметного зефира...
Без сожаленья, без кумира,
Без слез, без ласки и привета,
Без искры радости и света
Мелькали смутной чередой
За днями дни... Обрыв крутой
Меня заставил оглянуться...
Вперед... туда?.. Назад... вернуться?..
Нет, лучше где-нибудь в сугробе
Сном непробудным почивать,
Чем в смрадном ледящем гробе
Оков бряцанию внимать...
Назад, назад!.. Когда б вы знали,
Мои случайные друзья,
Как взоры дня меня пугали,
Как солнца сторонился я!
Где беспредельна степь, как море;
Где чуть колышется река,
Там безграничны скорбь и горе,
Часы ленивы, как века...
Беспомощно слабеют ноги,
Бессильно замирает грудь...
Взглянешь назад — нет полдороги,
Вперед — как вечность, долог путь!..

И вот с мучительной тоскою
Из груди рвется тихий стон
С невыразимою мольбою
О смерти... Но все тот же сон:
Я вижу снежные вершины,
Ущелья, пышные долины
Далекой родины моей...
Я слышу песнь моих друзей...
Как барс, ужаленный стрелою,
Очнусь... бросаюсь вновь вперед...
Лечу неведомой тропою,
Пока вновь сердце не замрет...
Друзья, простите тягость речи
Скитальцу бедному,— порой
Избыток чувств и сладость встречи
Жемчужной искрятся слезой...
Простите, что родное блюдо
Слезами подслащаю я...
Клянусь вам, велико то чудо,
Что с вами греюсь у огня...—
Все молча страннику внимали,—
Мальчишка не доел чурек,—
Но, слушая, не понимали,
Откуда, что за человек?..
— Я вижу,— начал он с улыбкой,—
Вас удивляет мой убор...
Что делать? Он невольной шуткой
Смешит суровость наших гор;
Я не ропщу,— ведь перед вами
Певец-скиталец и пастух,—
Убог умом, богат словами,
Кумир красавиц, враг старух...
Теперь иду,— здесь недалеко
Примолк над бурною рекой

Аул... На праздниках пророка
Хочу забавить там игрой
Найба... Чай, давно пеняет
Старик... Не так ли?..—

Все молчат.

Кого в Найбе он теряет?
О чем те струны прозвучат,
Которые так запоздали
Узнать о смерти старика?
Зачем же слезы засверкали
В очах скитальца-кунака?
— Ужели,— гость спросил тревожно,—
Вопрос невинный вас смутил?
Зачем молчите? Все возможно,—
Наиб был стар... и слаб, и хил...
Быть может, он...

— Мой друг случайный,—

Заговорил черкес седой,—
Ты облечен какой-то тайной...
Клянусь вот этой бородой,
Ты не певец родного края,
А то бы песнь твоя, рыдая,
Печальной повестью давно
Ласкала б слух... Но все равно,
Быть может, шел ты издалика
К Наибу передать привет
От Джамбулата, то жестоко
Промедлил... Старика уж нет...
Глухим, подавленным рыданьем
Дополнил речь его кунак...
Чем объяснить, ответить как
Его слезам, его страданьям?
Решал в раздумии глубоком
Черкес...

— Аллахом и пророком
Тебя мы заклинаем, брат,—
Признайся, ты...
— Я Джамбулат...

III

У крайней сакли, под навесом,
Играет с маленьким черкесом —
Сынишкой — молодая мать.
Она старается поймать,
А он, бутузик, убегает...
Хохочет... Вот упал... кряхтит...
Она проворно подымает
Его, целует... он визжит,
Барахтаясь в ее объятьях...
Блажен, кто матери в занятиях
Служить помехой в детстве мог!
Но... что за робость?.. Чрез порог
Калитки Джамбулат не смеет
Переступить в счастливый двор...
Как ночью малодушный вор,
В виду своей добычи, млеет,
Томится и дрожит в засаде...
Вперед — нет мужества шагнуть,
Назад — позорным мнится путь,—
Куда же?.. Джамбулат в досаде
Сжал челюсти... «Ужель с щенком
Холопа ей не надоело
Дурить?» — и мощным кулаком
В калитку постучал он смело...
Внезапный стук смутил на время
Ребенка... Молодая мать
Пошла к калитке... «Гость — не бремя»,—

Адату этому послушна,
Она привыкла принимать
Его во всякий час радушно.
Дверь растворяется проворно,
И пред хозяйкою, задорно
Облокотясь на посох свой,
В широкой шляпе и с сумой
Предстал знакомый нам кунак.
Взгляд гостя, как огонь, пытливый
Смутил хозяйку... Словно мак,
Зарделись щеки... Взор стыдливо
Погас в ресницах... на устах
Улыбка замерла красиво...
Работа путалась в руках...
Огнем неизъяснимой тайны,
Волнуясь, трепетала грудь...
Но не надолго...

— Гость случайный,—

Она промолвила,— твой путь
Тяжел, далек, сомненья нет...
Но всем, кто ни проходит мимо
Убогой сакли, я привет
Передаю от Ибрагима,—
Не откажи его принять...—
Она, казалось, овладела
Собою, но очей поднять
На «пастуха» еще не смела...
Момент... другой,— и взгляд пришельца
Ей разум объяснил не так,
Как смутно объясняло сердце,—
И вновь пред ней стоял кунак,
Пастух усталый и голодный...
Его костюм простой, свободный,
Его осанка, смелый взгляд,

Улыбка — ясно говорят,
Что он из гор...

— Благодарю

Сердцами правящего бога!
Твое приветствие у порога
Я, как святыню, схороню
В душе моей... Благодарю!
Красавиц видел я немало,
Но грудь мою ты взволновала
Иным восторгом,— я горю
Любовью брата... Никогда
Твой голос нежный не забуду;
В минуты счастья и труда
Я за тебя молиться буду
Всегда, везде... Я прост, ты видишь,—
Пастух не может быть иным...
Я знаю, скоро ты забудешь
Мои слова; как снег, как дым,
Как клятвы юности незрелой,
Они исчезнут без следа
Из памяти... что за беда!
Прости, пастух я очень смелый,—
Таким красавицам, как ты,
Смешны восторги и признанья,
Забавны пылкие мечты
И скучны при луне свиданья,—
Вот ваш обычный недостаток!
Прости, что гость твой больно падох
На откровенность... Не всегда
Таков я... Праздная болтливость
К ночлегу не сберет стада,—
А здесь... где женская стыдливость
Не терпит юности затей,
Дичится радостей свободы,

Где слово мужа, визг детей —
Источник счастья и невзгоды,
Где ложны клятвы и обет,
Здесь промолчать... уменья нет!..
Ты видишь, гость твой не скучает...
А если подадут пирог,
Волчком заходит турий рог,—
Забавен пастушок бывает...
— Кунак веселый ест немного
И напивается водой;
Он никогда не судит строго
Прием хозяйки молодой,
А потому могу я смело
Просить в кунацкую его,—
Не прогневись.

— Вот это дело!

Я ждал лишь слова твоего,—
Ведь басней соловья с тобою
Нам не насытить, но теперь
Благославляю всей душою
И твой привет, и эту дверь...
Я мужа твоего знавал...
Мы часто в альчики играли...
Он лучше всех нас воровал,
Но мы его за трусость звали
Тихоней... О тебе, скажу,
Я знаю только понаслышке...
И мальчик ваш? —

— Да.

— О сынишке

Не знал... И больно накажу
Его, разбойника, за это...—
Какая странная примета,
Читатель, узнавать людей:

Мы вызываем у детей
Испуг и слезы поцелуем,
Когда неискренно целуем,
Когда не любим их... Поверь,
И Джамбулат хотел теперь
Притворно приласкать ребенка,
Но он не дался,— мальчик звонко
Заплакал и — скорей, скорей
В объятья матери своей!
Табу всеправедному богу!
Табу хозяевам! Пора!..
Но гостя выпить на дорогу
Хозяйка просит из «тура».
— Я опьянею...

— Добрый путь!..

Ты пьешь здоровье Ибрагима...
— А чтоб вас вместе помянуть,
Скажи мне имя...

— Я — Фатима...

— Одну Фатиму знал и я.
С тех пор красавицу такую
Я не встречал... Как дочь родную,
Как равнокровное дитя,
Князей почтенная семья
Ее взрастила на свободе...
Одна другой звучней, милей,
Как о волшебнице, о ней
Слагались повести в народе...
Смотринам не было конца...
Но стать женой... нет, невозможно! —
Старик ей заменял отца,
А юный князь... О, как безбожно,
Как непомерно наказанье!..
За Сунжей вспыхнуло восстанье...

И князь исчез в бою одним
Бесследно... Но беда не в том,—
Пусть он убит, казнен на плахе,
Все ж лучше, чем...

— Жених был жив?! —

Хозяйка перебила в страхе.
— Казалось; нет. Так порешив,
И старый князь стал падать духом.
Вторым ударом он убит:
Красотка, доверяя слухам,
Позорит клятвы, не щадит
Родных адатов и тайком
Выходит за раба...

— Довольно!

О ней доскажешь мне потом...
Ты мне о князе молодом
Не все сказал...

— Длинна уж больно

И не занятна речь о том,
Как он в плену, в цепях железных
В темницах, в подземельях тесных
Грустил и думал лишь о ней,
Лишь о красавице своей...
Как, наконец опять свободный,
Он к ней пришел больной, голодный
И встретил безучастный взгляд...

— Но — имя князя?

— Джамбулат...

— Пастух! прости... я вся сгораю...
Я не могу владеть собой,
Все это — сказка... да? Я знаю,
Что князь убит...

— Он пред тобой!..

Объята сакля тишиною...
 Лучины тусклый полусвет
 Бессильно вздорит с темнотою...
 Уж полночь... Ибрагима нет...
 Ребенок спит спокойно, мило...
 Самой Фатиме не до сна,—
 Всю ночь прождать она решила,
 И ждет... задумчива, грустна...
 Вдруг легкий стук... Она вздрогнула...
 Шаги все ближе... Нет, не сон!
 Приехал, думает... взглянула
 И изумилась... Что ж!.. не он...
 Не муж... Пред нею очутился,
 Как призрак ночи, Джамбулат...
 — Ах!.. Это ты?

— Да... Заблудился...

Застигла буря... ночь, как ад,—
 Ни зги не видно... Нет дорог,—
 Размыто все... Мосты сломало...
 Признаться, досталось немало,—
 Едва, едва добраться мог...
 Но все прошло, и — слава богу! —
 Сбирайся, дорог каждый час...
 Нас кони ждут... Абы в дорогу,
 А там пусть нагоняют нас...
 — Что ты сказал?..

— Ничтожным страхом

Не оскверняй начатый бой
 С холопами...

— Клянусь аллахом,

Обиды никогда такой
 Я не ждала от Джамбулата...

— Не любишь ты!..

— Люблю, как брата,

Мне небом посланного вновь...

— Не больше?

— Это ль не любовь!

— Фатима!.. Полно! Где же слово,
Где клятвы наши и обет?..

— Теперь не воскресишь былого,
Не требуй, не ищи,— их нет...

— Изменница!..

— Ждала я долго...

Суди, легко ли ждать, когда

Кругом все осуждают строго

Мой возраст, девичьи года?

Просить руки моей, как счастья,

Шли и уздени и князья

И, не найдя во мне участия,

Чернили клеветой меня...

Боролась я четыре года...

Мне не легка была свобода

Такого выбора, поверь,

Но все ж я счастлива теперь...

Я не ропщу... Нарушив клятвы,

Дала я верности обет...

Кормлюсь плодом нелегкой жатвы,—

Где труд, там преступленья нет.

Благославлять мой выбор скромный

Обязан был бы ты, как брат,

А ты вступаешь с ночью темной

В союз... Опомнись, Джамбулат!

Перенесла я слишком много,

Чтоб так бездушно разрушать

Мою святыню... Бойся бога,—

Теперь я замужем, я мать.

— Жена продажного холопа
И мать щенка...

— Не оскорбляй!..

Позорна, князь, такая злоба...

— Прости... Но после не пеняй!

Объята сакля тишиною...

Лучины тусклый полусвет

Бессильно вздорит с темнотою,

А Ибрагима нет и нет...

В углу, на тахте, безмятежно

Вкушает сладкий, мирный сон

Ребенок... Мать склонилась нежно

Над ним и плачет... Из окон

Уж брезжит голубой рассвет...

Лучина слабо догорает,—

То вспыхнет, то совсем стухает...

А Ибрагима — нет как нет...

Пахнуло утром... тень редет...

Чуть-чуть румянится восток...

Щебечет ласточка... бледнеет

Звезда. Рокочет чуть поток...

Скрипит арба... но... мимо... мимо!..

И снова в сакле тишина.

Фатима... бедная Фатима

Все ждет и ждет... ни грез, ни сна!

Дрожит как лист... И кто узнает,

Какая цепь забот и дум

Гнетет, щемит и надрывает

Усталый изнуренный ум!

С какой тоской, с какой любовью

Она склонилась к изголовью

Ребенка... Что сказать ему

Она хотела?... Но к чему?!

Малютка спит... Святые грезы
Его не в силах разогнать
Ни тихий плач, ни эти слезы,
Какими обжигает мать
Его чело, его ланиты...
— Спи, милый! Дорог этот сон,—
Нет в мире радостней защиты...
Придет пора,— ослабнет он,
Иссякнет, и, когда проснешься,
Поймешь, почувствуешь, дитя,
В каком отчаянье тебя
Лобзала мать, и — ужаснешься...
А до тех пор ничто земное
Да не нарушит светлых грез —
Весь мир, вся жизнь не стоит слез,
Не стоит твоего покоя! —
Но... дверь, как будто бы рукой
Волшебной, растворилась снова,
И в сень, глядевшую сурово,
Окутанную полумглой,
Черкес вступает молодой...
Его не видят... Осторожно
Снимает бурку он с себя...
— Так изнурять себя безбожно,
Фатима!..
— Ты?! Ждала тебя...
— Я мог приехать раньше, позже,—
Ужель должна сидеть всю ночь?
Ведь этим путнику помочь
Ты не могла...
— Вернулся... боже!..
— Фатима! Плачешь?.. Что случилось?
Ребенок болен? Говори...
— Нет... Он здоров... Как сердце билось...

Не дожила бы до зари,—
Все бредила сырой могилой...
Теперь прошло... Ты здесь, мой милый,
И я спокойна... Ты устал?
Промок под ливнем... голодал...
Но ничего... я накормлю
Тебя превкусным пирогом.
— А я трусиху удивлю
За это шелковым платком...
— Ах, Ибрагим, зачем напрасно
Всегда расходуешь свой труд...
— Нет, ты надень... Вот так...
прекрасно,—
Таких не видывали тут...
— Ты плохо ел...
— Я сыт... довольно...
Вот только новостями больно
Скупись ты...
— Вернулся брат...
— Какой?
— Не помнишь... Джамбулат...

V

Проснулся царственный Казбек,
Восход приветствуя румяный.
Долины быстротечных рек
Покров свой сбросили туманный...
Лениво выползают горы
Из облаков... Проснулся лес,
И птиц восторженные хоры
Благословляют ширь небес.
Проснулись мирные черкесы...
В ущелье тесном, где аул

Венчает грозные отвесы,
Клубится пыль и слышен гул
Лихой забавы скакунов...
Бегут стада... и над скалою
Ползет прозрачной синевою
Дым хлопотливых очагов...
Проснулось все... Прошла дремота,
Рассеян мрак... повсюду свет...
Ликует мир... кипит работа,
И все живое свой привет
Шлет солнцу...

За Шайтан-горою,

В кустах, меж грудями камней,
Поросших мохом и травою,
Ползет тропинка, словно змей...
За дичью раненой, шальной,
В трущобах горных запоздалый
Охотник иногда домой
По ней спускается усталый;
С сумой, ремнем и топором,
Тяжелой удрученный думой,
По ней взбирается с трудом
К опушке дровосек угрюмый;
На посох длинный опираясь,
Порой пастух по ней несет
С коша¹ в аул душистый мед
И сочный сыр... Теперь, цепляясь
За камни, плющ, кусты и мох,
То, как ребенок чрез порог,
Переступая чрез преграды,
По ней взбирался Джамбулат.
Куда? Зачем? Какой награды

¹ Стоянка. (Примеч. автора.)

Он ищет здесь?.. Тревожный взгляд,
Как зверь затравленный, блуждает,
Не отдыхая ни на чем...
Горячий пот с чела стекает...
Расстегнут ворот, за плечом —
Вся слава дедовских побед —
Ружье с насечкой золотою...
За пояс воткнут пистолет;
Кинжал оправой дорогою
Играет с солнечным лучом...
Башлык болтается небрежно...
Тревога тайная во всем!
А мир!.. Баюкая так нежно,
Чаруя дивной красотой,
Манит, ласкает до забвенья,
До слез, до сладкого томленья...
Простор... приволье... тишь... покой!..
Чуть слышен неустанный гул
Во мгле зарытого каскада...
Игрушкой кажется аул...
Как муравьи, расползлось стадо
По яркой зелени. Пастух
За ним бредет неторопливо...
Вот он запел... Ему игриво
Повсюду вторит горный дух:
 Аллах всемогущий,
 Аллах вездесущий,
Велик ты в творенье твоём!
 Полны чудесами
 Земля с небесами,—
Премудрость твою мы поем...

И степи, и горы,
И реки, и доли,

Озера, моря и леса,
От края до края
Тебя прославляя,
В гимн стройный слили голоса.

Но вот тропинка обогнула,
Как ад, зияющий овраг,
Змеей по скату промелькнула
И затерялась в кустах...

Но вот опять в траве зеленой
Лоснится ленточкой. Пред ней
Волной прозрачной и студеной
Журчит и искрится ручей...
Она слегка к волнам склонилась,
Чуть-чуть их влагой оросилась
И, сделав с камешка прыжок,
Перескочила на песок...
Взглянула весело назад
И побежала шаловливо
На луг... в кусты... к камням... на скат...
И под утесом, горделиво
Главой подпершим свод небес,
Мелькнув еще раз бледно, бледно,
Ушла совсем, ушла бесследно
В дремучий, вековечный лес...

VI

Как здесь легко, как здесь привольно!..
Как хочется прилечь, уснуть...
Как робость тайная неволью
Теснит, волнует сладко грудь!..
Мир сказок, мир теней, прохлады,
Волшебных грез... Везде кругом,

Густым увенчаны шатром,
Стоят столетние громады...
Вот липа... К ней склонился клен
И шепчет что-то... К груди белой
Чинары тянется несмелой
Рукой орешник... Он влюблен
В нее давно, но... что за пара!
Она, красавица чинара,
Царица леса, он пред ней —
Смешной, уродливый пигмей!
Вот старый дуб... Идет рассказ
О нем, излюбленный народом,
Большой, таинственный... Под сводом
Его могучим свой намаз¹
Творят охотники — обычай
Бессменный исстари для всех;
Сюда же вечером с добычей
Они приходят на ночлег...
Лишь ночь — и ярко запылает
Костер... Польются песни, спор...
И долго, долго им внимает
В полудремоте черный бор...
Но не охотникам одним
Так дорог этот дуб заветный:
В минуты отдыха под ним
И дровосек мечтает бедный
Скорей укрыться от забот...
Вот и теперь из чащи леса
К нему выходят два черкеса,
Вступают под широкий свод
Гиганта, и к его стопам
Бросают топоры небрежно...

¹ Намаз — молитва. (Примеч. автора.)

— Нет, видно, не угнаться нам
За ним,— он дьявольски прилежно
Работать стал...

Разгадка в чем?—

Была б моей женой Фатима,
Тогда б под княжеским бичом
И я не меньше Ибрагима
Кичился рабским трудолюбьем...
Не будь ее, и он бы людям
Служил за вьючного осла,
Как я... Она его спасла
От нищеты и рабской лени,—
Жена его всему виной...
Лишь с нею он рука с рукой
Взобраться мог на те ступени,
Что незаслуженно сейчас
С холопом разделяют нас...
— Стыдись, товарищ! Ты до брани
Несправедлив... Из нищеты
Могли бы выйти, при желанье,
Как Ибрагим, и я и ты;
Но выбор сердца молодого
Княжны сказался лишь на нем
Не потому ли, что во всем
Ущелье не было другого,
Кто мог бы поравняться с ним
Неутомимостью в работе?
Как я, как ты, и Ибрагим
Родился в яслях... но к свободе
Никто из нас его любовью
В своей неволе не пылал...
Трудом, облитым потом, кровью,
Он раньше всех свободным стал...
И что ж? Награда по заслугам:

Фатима, вопреки людской
Молве, решила быть женой
Его и неизменным другом —
И не ошиблась... До сих пор
Ничто их счастье не туманит;
Приветливо зовет и манит
Прохожего усталый взор
Их сакля прихотью воздушной;
Всегда готов прием радушный;
Всегда есть пенящийся рог
Густого пива и пирог.
Жизнь наша изменилась много:
Кто недоволен, а кто рад, —
Судить грешно, — ведь все от бога...
Но вот хотя бы Джамбулат...
Потомок княжеского рода...
Джигит, каких я не встречал,
Был славой, гордостью народа...
Попал к гяурам в плен... бежал...
Вернулся к нам — и наш он снова...
Но что застал он из былого?
Полуразрушенный аул
И башню без ребра и скул!..
С Наибом умерла и слава
Винтовок, шашек, скакунов...
Меж тем для княжеских сынков
Не по руке еще забава:
Соха, топор и наш ремень...
Холопов нет, трудиться лень,
А голод, говорят, не тетка, —
И вот, как старая подметка,
Вздыхая пыль, сгущая грязь,
В народе топчется и князь,
Отцов наследье проживая...

И жалок он, да и смешон...
Равняться с нами не желая —
Ты посмотри, — чем занят он?
С винтовкой, на коне, весь год
Скитаясь по аулам дальним,
Воспоминанием печальным
Везде смущает лишь народ...
Везде, едва-едва терпим,
Подарки вымогает силой...
Таков и Джембулат наш милый...
Боюсь, что бедный Ибрагим
С женой намыкаются с ним...
Боюсь, что очень, очень скоро
У них он будет на хлебах,
И предки князя от позора
Начнут ворочаться в гробах...
Но... посмотри... ужель под вечер
Меня обманывает глаз?
Там кто-то был... заметил нас
И скрылся...

— Нет... должно быть, ветер,
Играя стройною чинарой,
Встревожил трепетную тень...
Но полно... Подымайся, старый!
Пора и нам рассеять лень
И косточки промять от скуки...



Бор... темный бор... глубокий бор...
Бешмет промок... немеют руки...
Все глуше падает топор,
И все большее грудь вздымает
Тяжелый вздох... И кто узнает,

Как много сил и много дней
Здесь отнято у Ибрагима!
Но все же многих он бедней
В ауле... Что ж? Неумолимо
Его преследовал всегда
Жестокий рок. Ребенком глупым
Служил он, круглый сирота,
Забавой детям сытым, грубым...
Полунагой, полуголодный
Ходил за стадом... Жил и рос
В конюшне темной и холодной,
Доил коров, сгребал навоз...
За промах всякий, всякий вздор
Его ругали, били, драли...
А уходил на волю,— дали
Ему веревку и топор.
И как работал, как он бился!
Не знал покоя день и ночь...
Построил саклю и влюбился,
На горе, в княжескую дочь...
В борьбе с безумною мечтою
Жизнь стала пыткой... Видит бог,
Хотел покончить он с собою,
Но сердце побороть не мог,
Ползли без ласки и участия
За днями дни... Куда? Зачем?
Как вдруг, на удивленье всем,
Сама княжна,— какое счастье!—
Сама красавица княжна
Спасла его от этой муки:
Холопу первая она
С любовью протянула руки...
И он воспрянул... Снова грудь
Полна надежд... Свободен путь...

Силен, здоров, и, слава богу,—
Зачахнет бедность понемногу,—
Пусть только спорится работа!..
Сегодня дикая природа
Внимает с самого утра
Глухим ударам топора...
Здесь места нет тщедушной лени...
Но полно! Золотой каймой
Охвачен лес, густеют тени,—
Пора!.. Он грязною полкой
Провел по смуглому лицу
И усмехнулся... «Ну, недаром,—
Пробормотал он,— зная, купцу
Я угожу своим товаром.
Однако надо торопиться...»
Он взял топор и зашагал
Между деревьев... Вот струится
Родник знакомый. Он припал
Устами жадными к воде...
Напился... Широко вздыхает...
На мягкой темной бороде
Струя жемчужная играет...
Он снял ее и поднял взоры
К просвету... Снеговые горы
Прощались с солнцем,— близок час
Вечерний совершить намаз...
Он сел... разулся... снял бешмет
И начал мыться... «Помни бога
Всегда, везде...» — и как он строго
Хранит излюбленный завет
Своей Фатимы дорогой!..
«Бог милостив... В его лишь власти
И наша жизнь, и наше счастье».
Бедняжка, как она порой,

Его в дорогу провожая,
Чуть не в слезах; чуть не рыдая,
Советует беречь себя...
«Работать меньше?.. Чтоб другая
Была наряднее тебя...
Нет, нет!.. Еще не раз просила...»
И что-то чуть слегка сказило
Его лицо... но на устах
Тотчас улыбка зазмеилась,—
Он рассмеялся... Чу! в кустах
Вдруг что-то щелкнуло, сломилось...
«Должно быть, заяц... Ах, косой!
Отделался одним испугом,—
Ружья нет, жаль, а то с тобой
Была б расправа по заслугам».
Но все уж стихло... Он нагнулся
Опять к воде и улыбнулся...
«Должно быть, жутко ей одной,—
Бойтся темноты ночной...
Какой-то непонятный страх...»
И он слегка наморщил брови...
«С тех пор, как Джамбулат в горах...
Ужель она боится крови?..»
Но снова шелест под кустом!..
Раздался выстрел... Он, как гром,
По всем ущельям прокатился,
Гудел, трещал, шипел, дробился
И долго, долго не смолкал
В далеких отголосках скал...



«Быть может, голубок влюбленный
К своей подруженьке летел»,—

Заслышав выстрел отдаленный,
Пастух заметил вдохновленный,
Вздыхнул глубоко и запел:

В гнезде молодая
Голубка тоскует,—
Дружка поджидая,
Все стонет, воркует...

Лети, голубочек,
Лети, дорогой!
Твой милый дружок
Грустит день-деньской...

Увы, он молениям
Ее не внимает.
Что скорбь и томленье,
Коль сам не страдает!

Не жди, дорогая!—
Сраженный стрелой,
Твой друг, умирая,
Простился с тобой...

VII

Вершины гор в лучах заката
Огнем пылают золотым...
Ползет в аул лениво стадо...
Из очагов клубится дым...
Одела тень холмы, долины...
К реке спускаются толпой
Черкешенки... Давно водой
Налиты звонкие кувшины,

Но нет конца игре веселой,
Девичьим песням и речам,—

И пусть! В неволе их тяжелой
Пусть хоть безумолчным волнам
Поведают мечты и горе...
Слеза смешается с волной
И быстро унесется в море...
А песнь над бурною рекой
Бессильно гложет, все равно!..
Проехал кто-то... Помешали...
Ну что ж... пора, пора давно!—
Сегодня слишком запоздали...
А что ж Фатима? Что ж она
На берегу сидит одна?
Ведь все ушли... На цепи снежной
Погас давно румянец нежный...
Прохладой веет с синих гор...
Рыдает, стонет бесприютно
Седой поток... Темно... безлюдно...
Меж тем Фатима до сих пор
Сидит,— считает будто волны,—
С потока не отводит глаз...
Но их не счесть, в вечерний час
Они мучительно проворны...
Ужель поет?.. Чуть реют звуки,
Чуть льется песнь, но сколько грез,
Но сколько в ней душевной муки,
Любви и затаенных слез!

Догорела заря,
Засыпает земля,
И ночные парят уже грезы...
Грудь изныла, любя...

Жду, мой милый, тебя.—
Поспеши осушить мои слезы.

Вновь к тебе, милый мой,
Я склонюсь головой,
И спою тебе песню былую...
Расскажу тебе вновь
Про тоску и любовь,
Обойму горячо, расцелую...

В порывах волн, лаская слух,
Последний звук еще летает
В прозрачном воздухе, как вдруг
В глазах Фатимы вырастает,
Как тень, с улыбкой неприветной,
С тревожным взором, наш герой...
Предчувствия хлынули рекой,
Вскружили ум красотки бедной,
До боли прищемили грудь...
Момент, другой — она очнулась
И, как безумная, метнулась
К тропинке, но он занял путь...
— Пусти!..—

Он злобно усмехнулся...

— Чего ты хочешь?

— Ты моя...

— Несчастный! поздно ты вернулся,—
Фатима умерла твоя...
Зачем тебе мое паденье?
Ужели не довольно слез,
Тоски, унынья, озлобленья,
Разбитых юношеских грез?
За что ты так неумолимо
Тревожишь сон души больной?

Пойми, я все для Ибрагима —
И честь, и счастье, и покой.
— Их нет теперь, как нет проклятья,
Каким клеймила их любовь...—
И он раскрыл свои объятия...
Фатима вздрогнула... Вся кровь
Из сердца хлынула к мозгам...
— Уймись, глупец! Я не отдам
Честь матери на поруганье...
Коль нет ни капли состраданья
В тебе, то...—

Сделав шаг назад,
Она порывисто пригнулась,
Схватила камень, размахнулась...
— Убей!..— промолвил Джамбулат.—
Убей, но выслушай, молю,
Ты прежде исповедь мою...
Не смерть страшна,— меня пугает
Твое презренье... Бог лишь знает,
Как все во мне полно тобой,
Как я люблю тебя, Фатима...
Не будь тебя, тебя одной,—
И жизнь была б невыносима,
Грязна, позорна, как тюрьма.
Фатима... вспомни ты сама
Часы томительной разлуки!
Я перенес все эти муки...
В цепях железных, под кнутом...
И все ж, чтоб стать твоим рабом,
Преодолею я все преграды...
А ты!.. Ужель другой награды
Не заслужил я?.. Что ж... убей!
Вся жизнь моя была твоей...
А помнишь ли, когда, бывало,

Всходил лишь месяц золотой,
Лишь вся природа засыпала
Под кровом ночи голубой,—
Спешила ты в мои объятия...
— Молчи, молчи!.. всему проклятье!
Не нам указывать судьбе...
— Нет, нет, Фатима... Нет; в тебе
Исчезнуть не могли бесследно
Восторги райских тех ночей!..
Лицо Фатимы было бледно;
Из бархатных, больших очей
Катились слезы по щекам...
Она молчала...

— Боже правый!
Ужель всю жизнь пустой забавой
Придется оставаться нам
В руках судьбы? Ужель решилась
Расстаться навсегда со мной?..
— Да, да... Прощай!..

— Так нет же, стой!
Ты права этого лишилась,
Голубка,— ты моя теперь...
— Безумец! прочь!.. Нечистой кровью
За все ответишь мне, поверь...
— Я заплачу за все любовью...
— Клянусь Кораном, Ибрагим
Отмстить сумеет...

— Сомневаюсь,—
Он перестал уж быть твоим...
— Что ты сказал?!

— Изволь, покаюсь,
Невелика, несложна тайна.
Чем обладал он лишь случайно,
То слишком пламенно любил

Твой Джамбулат... и он... убил...
Договорил ли он иль нет?
Но голос дрогнул замогильный,
И взор потупился... В ответ
Ему послышался бессильный,
Едва, едва приметный стон...
— Фатима!..— простонал и он...
Она, как ландыш, похилилась...
Но он успел,— она свалилась
К нему на грудь...

Над спящим миром
Плыл тихо месяц золотой,
С ущелья веяло эфиром...
В постели каменной, крутой,
То злобно в пену разбиваясь
О груди неприветных скал,
То вновь в каскады собираясь,
Неугомонно бушевал
Поток... Над ним, в объятьях брата,
Как труп безжизненный, лежит
Фатима... Сердце Джамбулата
Тоской беспомощной шемит...
О чем жалеть?.. На что пенять?..
Но вдруг... да, да! жива опять!
Открыла очи... Как спокойно,
Как медленно блуждает взгляд
В лазури неба, где так стройно
Светила вечные парят...
— Где я? — промолвила тревожно
Фатима, проводя рукой
По лбу, и встала...— Невозможно!
Спала на круче, над рекой!..
И как я только не свалилась!..
Где ж мой кувшин?... Его здесь нет...

Ты не видала? — Обратилась
Она с вопросом... Лунный свет
Ей разъяснил ее ошибку, —
Бедняжка думала улыбку
Подруги встретить, а пред ней
Мужчина, незнакомый ей...
Она внимательно взглянула
Ему в лицо...

— Ты кто такой?

Зачем ты здесь?

— Пойдем домой...—

В ответ ему она зевнула...
— Как холодно... Опять подуло
Могильной сыростью из гор.
Поток всё плачет... До сих пор
Не может пересилить горя,
Не может слез своих унять...
Его там успокоит море,
А здесь... здесь некому понять
Чужой тоски... И я точь-в-точь
Рыдала так над Джамбулатом...
Нет, я боюсь...

— Мой друг, ты с братом,

Не бойся...

— Ах!.. убийца... прочь!..

Как зверь, ужаленный стрелой,
Она рванулась... побежала...
И где-то в темноте ночной
Еще раз дико простонала:
— Убийца! — и захохотала...

З а к л ю ч е н и е

Не гневись же, читатель, что я утомил
Своим скучным рассказом вниманье...
Но, поверь, мне Кавказ так несказанно мил,
Что ищу до сих пор с ним свиданья.
Был недавно... Проездом опять заглянул
В те места, где блуждал я когда-то...
Не узнали меня... Изменился аул,—
Вместо сакли — турлучная хата...
И обои и печи... Висят зеркала
Вместо шашки, ружья, пистолета...
Неизменно одна над аулом скала
Диким мохом, как прежде, одета...
Так же гордо молчит, тот же пасмурный взгляд
На аул, на мосты, на дорогу...
Изменяется все — и язык и наряд...
Деньги наши в ходу, слава богу!..
Есть и школы... Я видел — из хаты одной
Вышел с книжкой, босой и без шапки,
Мальчуган... и еще... тот в рубахе цветной,—
И посыпались чуть не десятки...
В это время какая-то женщина тут
Проходила в лохмотьях, босая...
Мальчуганы за ней! — с дружным смехом бегут,
В нее грязью, камнями бросая...
На все выходки их она только порой
Отвечала забавною бранью:
— Погоди, шалунишка, придешь ты домой,—
Я тебя без отца затираню...
— Кто такая? — невольно вопрос я задал.—
Отчего она так нелюдима?
— Сам недавно я здесь,— мне духанщик сказал,—
Сумасшедшая, видишь... Фатима...

Был сынок у ней... Верись,— учитель разжал
С горла мальчика грешные руки...
Ну, спасибо, весной инженер приезжал
И увез, говорят, для науки...
Так осталась одна... и, как видишь, весь день
Себе места нигде не находит...
По ночам над рекою блуждает как тень
И безумную песнь свою водит:

Догорела заря,
Засыпает земля,
И ночные парят уже грезы...
Грудь изныла, любя...
Жду, мой милый, тебя,—
Поспеси осушить мои слезы!..

1889—1895

ХЕТАГ

Горе! Как быть мне? Что делать мне, бедному?
Уастырджи, слава тебе, справедливый!
Дай для фандыра струну золотистую —
Волос один из Авсурговой гривы!

Горе! Как быть мне с фандыром расстроенным?
Кто ты, земляк мой? К тебе мое слово:
Не осуждай ты меня, не осмеивай,
Коль на фандыре сыграю я снова!

Люди в своей похвальбе одинаковы:
Хвалят себя и плохие нередко,
Люди хорошие хвалят и кровника,
Кто превозносит невестку, кто предка.

Как же мне быть? Что же делать мне, бедному?
Кто бы ты ни был, земляк мой, — вниманье!
Лучше — пока похваляться я вздумаю —
Слушай о предках далеких сказанье.

Это случилось давно ли, недавно ли —
Нам достоверно сказать невозможно.
Сам из десятого я поколения —
Правнук несчастный, бесславный, ничтожный.

Если по-горски считать, совмещаются
Хетага время и время Мамая;
Исстари в нас пребывает от Хетага
Род его, имя и слава большая.

Что же мне делать, земляк мой неведомый,
Чтобы напев мой был звонче и краше?
Как бы тебе мой фандыр ни рассказывал —
Слушай сказанье о Хэтаге нашем.

I

К Черному морю с Кубани клокочущей
Яростно гонят аланы Мамаю.
Мертвых тела островками качаются,
Вниз по багряной реке уплывая.

Сколько отважных погубило тут юношей?
Сколько печальные матери кличут?..
С песней живые домой возвращаются,
Гордо неся боевую добычу.

Бяслан летит с Асланбёком и Хетагом —
Первыми скачут три сына Ина́ла.
В битву не взяли отца: где, мол, старому!
Нехотя это и сам же признал он.

Что ж, он остался, но молвил: — Сыны мои,
Горе тому, кто себя опозорит!
— Верь, — отвечали, — не будешь ты пленником,
Нас не постигнет подобное горе!

И оправдали доверие воины —
В гущу сражения ринулись смело.
Кони — как тигры, а сами — как молнии,
Ярко на солнце оружие блестело.

Жизни своей не щадя, беспощадные,
Бились их воины, не уставая.

Вешней лавиной на пришлых обрушились
Смяли, отбросили войско Мамая.

И от зари до зари их без устали
Гнали аланы все дале и дале,
Шли по пятам чужеземных воителей —
Всех из родимого края прогнали.

Много побили пришельцев из Азии,
Вражьи сокровища забрали немало...
Вот возвращаются весело воины —
Знамя уже над горой засияло...

Кто из мужчин оставался в селениях?
Старцев одних там сковало бессилие, —
Все остальные встречать победителей,
Сакли счастливые бросив, спешили.

Люди стремились к селенью Иналову,
Каждый хотел добежать побыстрее.
Ты посмотри: вся равнина волнуется,
От ребятишек и женщин пестрея...

Конь под Иналом белее, чем облако.
Сколько с Иналом соратников старых:
Славный Солтан с абазехским владельцем,
Таубии, ханы и просто алдары.

Вот и Курган Состязаний наездников.
Песня вдали раздалась боевая.
Гикнули старые — кони воспрянули,
Словно орлы, на вершину взмывая.

Вот на ковре три подушки турецкие:
Выше — Солтана, пониже — Инала,

Князь абазехский на самую низкую
Сел, но с достоинством, как подобало.

Сели все трое. Как юноши стройные,
Сзади их стали другие дворяне...
Поле качнулось — то воинство прибыло
И развернуло свой стан при кургане.

Смотрит Инал — сыновья его спешились,
Младшим поводья вручили при этом
И, поклонившись ему, седовласому,
К знатым гостям обратились с приветом.

Старцы воскликнули: — Доброго здравия!
Быстро вернулись! Ну, как воевали?
— Даугам слава! — им Бяслан отвечивал. —
Волку мы здорово клык обломали!

Тут обо всех беспримерных событиях
Бяслан поведал подробно, толково.
— Верьте: зарекся насильник отброшенный!
К нам за добычей не сунется снова!

Все, чем набил он повозки походные,
Все, что наградил он, алчный и хитрый,
Он побросал и бежал опозоренный,
По полю мчался побитою выдрой.

Звал понапрасну Мамай своих воинов, —
Что им владыка, покрытый бесславьем?
Сами сдавались!.. Забрали мы пленников:
На молотье их работать заставим!

Как рассказать обо всех этих подвигах?
За год едва ль половину б смогли мы!

Более всех удивил своей доблестью
Братец наш младший — наш Хетаг любимый!

— Слава вам, дауги! Слава вам, дауги! —
Провозгласили старейшины громко. —
Этого мужества слава великая
Громом докатится и до потомков!

Любы Иналу сыны его статные,
Встал и глядит на отважных, пригожих.
Как же тут князю сидеть абазехскому,
Если Солтан поднимается тоже?

Глянул Инал на войска свои верные,
Руку простер к ним, как солнце сияя.
Стихло кругом. И воскликнул он: — Воины!
Вам благодарность от нашего края!

О храбрецы! Голова моя старая
Разве оплатит бесстрашие ваше?
Ныне вы все мои гости желанные!
Что ж, отдохнем, попируем, попляшем!

— Слава! Обилье Иналу! — слышалось.
Воинам в скалах откликнулось эхо.
С песнями мимо кургана зеленого
Строй нескончаемый ехал и ехал...

II

Длилось неделю веселое пиршество.
Сколько народу в гостях у Инала!
Пламенных плясок таких, угощения
В мире от века еще не бывало!

В симде кружились нарядные девушки,
Ликом прекрасные, стройные станом.
Больше всего любовались тут все-таки
На дочерей ненаглядных Солтана.

Старшая дочь, Чабакан бледнолицая,
Томная, тихая, словно в печали.
Взгляд ее с ночью соперничал лунною —
«Лунным сияньем» не зря ее звали.

Младшая дочь, Залихан быстроглазая,
Всех веселее танцует, играет.
Видишь — еще ведь девчонка, а всякому
Сердце, как солнце, она озаряет.

Свататься к ним отовсюду торопят
И уздени, и князья, и султаны, —
Замуж пора, да на ком остановишься:
Много богатых, но нету желанных.

Шесть сыновей у Солтана у старого,
Только любил дочерей он сильнее:
Девушки грубого слова не слышали,
Душу он им отдавал, их лелея...

Ни в Кабарде, ни в Осетии не было
У молодежи веселья такого.
Но не до пляски на празднестве Хетагу —
Хмурый сидит, не промолвит ни слова.

Смотрит народ на него, удивляется:
Если с врагами он бился так смело,
Как же невзгода героя изранила?
Что за кручина его одолела?..

В верхней кунацкой сидели старейшины,
Старый Солтан тамадою назвался.
Пил он, как нарт, веселился, как юноша,
В здравницах, словно пророк, изливался.

— Гей, позовите-ка Хетага! — отрокам
Крикнул Солтан после здравицы строго.—
Ели и пили мы вдоволь, а младшие
И не пригубили турьего рога!

Хетаг явился и стал в отдалении.
— Ближе! — кивнул тамада головою.
Хетаг приблизился. После моления
Старец сказал ему слово такое:

— Хетаг! О солнце! С отцом твоим доблестным
Долго в соседстве и дружбе я прожил...
Нынешний праздник богатства дороже нам!
Что там богатство? Он жизни дороже!

Храбростью, мужеством всех ты порадовал,
Страшен ты был иноземцу-злодею.
Перед отцом твоим, перед старейшими
Я говорю: буду жертвой твоею!

В жены, о Хетаг, возьми себе дочь мою,
С нею и жизнь я отдам свою даже.
Сам ты из двух дочерей себе выбери:
Лучшую сердце тебе да укажет!

— Слава! — восторженно гости воскликнули,
Так что качнулись высокие стены.
Чаши наполнились — всем он понравился,
Этот Солтана подарок бесценный.

Вдруг — тишина: сам Инал подымается.
— Слушай, Солтан мой, прославленный воин,
Хоть подружились мы в битвах бесчисленных,
Может, подарка мой сын недостоин?

— Вот еще! — снова воскликнули старые, —
Больше, чем Хетагом, кем же гордиться?
Должен, Солтан, породниться ты с Хетагом:
Лучший ведь зять на земле не родится!

— Хетаг! О солнце! Будь счастья владыкою, —
Молвил Солтан, — ты вернулся с победой!
По сердцу ль скромный мой дар победителю?
Прямо об этом Солтану поведай!

Хетаг молчит, словно горем настигнутый...
Нет, никогда не бывало такого!
Стихла кунацкая: разве когда-нибудь
Не находил он достойного слова?

— Славный Солтан! Бог да будет свидетелем! —
Хетаг вздохнул, всей душою болея. —
Если на счастье мне создал он старшую,
Есть ли на свете подарок милее?

Только... я сам тут могу быть свидетелем:
Стать мне женой Чабахан не решится.
Может, поймет она все и почувствует,
С доброю вестью тогда и примчится.

— О, над моими не смейся сединами!
Правды лучи да не будут сокрыты.
Кликните девушек! Если согласие
Даст Чабахан, то ее уличи ты!

Вся молодежь поспешила в кунацкую.
Хетаг во двор незамеченный вышел.
Юношей выгнали. Девушки замерли —
Стало в кунацкой просторней и тише...

Все поняла Чабахан оробелая, —
Вмиг исказилось лицо, побледнело.
Дышит прерывисто, будто бы при смерти,
В землю глаза опустила несмело.

— Слушай, — Солтан обращается к дочери, —
Правды не бойся, стесняться не надо —
Ты на одно дай ответ мне, пожалуйста:
Замуж ты выйти за Хетага рада?

Вздрогнуло бедное сердце у девушки,
Словно от выстрела сердце газели.
Щеки ее помертвевшие вспыхнули,
Ярко, как звезды, глаза заблестели.

— Если тобою, отец мой, я отдана
На посмеянье народа родного,
Что же скрывать мне, чего же стесняться мне —
Слушай мое откровенное слово:

Нежно и крепко друг друга любили мы,
Слили мы наши мечты и желанья.
Кто б разлучил нас на свете? Но дауги
Нашу судьбу начертали заране.

Слушай: когда он учиться отправился,
К иноку-греку попал он в Тавриде.
К вере суровой склонили там Хетага.
Сам рассказал он, что слышал и видел.

Слышал ученье монахов-наставников,
Видел он крест, мертвеца воскресенье.
Книги там Хетаг читал христианские.
Принял, сказал он, Христово ученье.

Девушка смолкла... бледнеет и падает...
Младшая к ней подбегает в испуге —
И, словно мертвую, в девичью комнату
Дочку Солтана уносят подруги.

Все — и Солтан, и Инал, и соратники —
Окаменели... Беда приближалась, —
Каждый подумал, ни слова не вымолвив:
Как бы сейчас не дошло до кинжала!

— Солнышки, сядьте! — Солтан успокоил их. —
Эта бесхитростность от воспитанья.
Сгинь, голова моя: умная девушка,
Жарко любя, лицемерить не станет!

— III

Кончилось пиршество. Гости расходятся,
Благодарят, восхваляют Инала:
Как только силы хватило прислуживать?
Где столько яств и напитков достал он?

Вот за ограду арбу кабардинскую
Вынесла пара быков круторогих,
И, джигитуя, промчались наездники
Мимо нарядной арбы по дороге.

Грянула песня: Солтана селение
Вскоре у моста открылось их взглядам.

Дочки Солтана, печальные, бледные,
Едут в арбе, и кормилица рядом.

Мать им навстречу родимая выбежит
С добрым приветом и с лаской во взоре.
Вмиг по глазам обо всем догадается —
Ей ли не чуют дочернего горя...

Старый Солтан у Инала замешкался —
Потолковать о случившемся деле.
Сели под дубом на травку зеленую,
На реку долго в раздумье глядели.

Молвил Солтан: — Нам не надо печалиться:
Может, еще образумится Хетаг,
Не отречется от веры от дедовской.
Завтра спроси: что он скажет на это?

Слышал ты, друг мой, ответ моей дочери?
Так! Но любовь разве дело пустое?
В мире все девушки ей позавидуют:
Хетага — головы наши не стоят!

Молвил Инал: — С давних пор твоим родичем
Стать мне хотелось. Клянусь, что родни нам
Лучшей не надо!.. Но что тут поделаешь?
Как породнишься ты с христианином?

Молвил Солтан: — Скачет сердце отцовское
К счастью, что конь к заповедному месту.
Делу счастливому — слово короткое:
Завтра же вашу берите невесту!
И — по рукам!.. И проходят во двор они,
Как женихи, не горя нимало...

— Добрых вам дней! — На коне приосанившись,
Старый Солтан покидает Инала.

Едет Солтан, по бокам его семеро
Храбрых джигитов... Пылится дорога...
Вдруг стариков на нихасе увидел он
И возле них задержался немного.

— С радостным сердцем домой возвращаюсь я, —
Громко сказал он, — прощайте, соседи!
— Рады тебе мы, — ответили старые, —
Даже когда ты далеко уедешь.

Пусть же к поре, как мы снова увидимся,
Славного внука родят тебе дети!
— Лучшего я не слышал пожелания,
Хоть и немало я прожил на свете.

Что же, пусть внука даруют мне дауги!..
Внука? Пусть девять подарят мне боги!
Благодарю вас, живите во здравии!
— Доброй дороги! Счастливой дороги!..



Осетинский аул Нар.



Отец поэта — Л. Е. Хетагуров (1810—1892).

Дом Хетагуровых в ауле Нар.

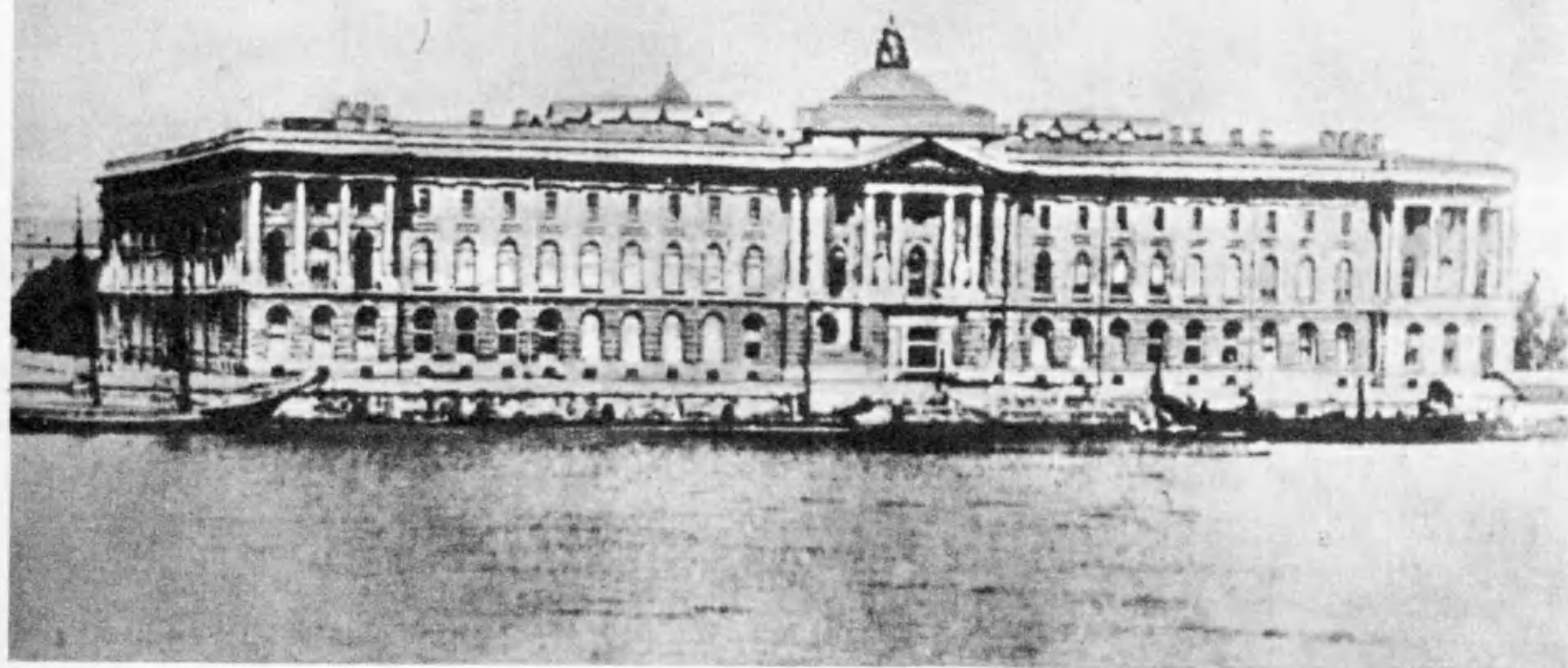




Владикавказ в 70-е годы XIX века.

Ставропольская мужская гимназия, где Коста Хетагуров учился с 1871 по 1881 год.



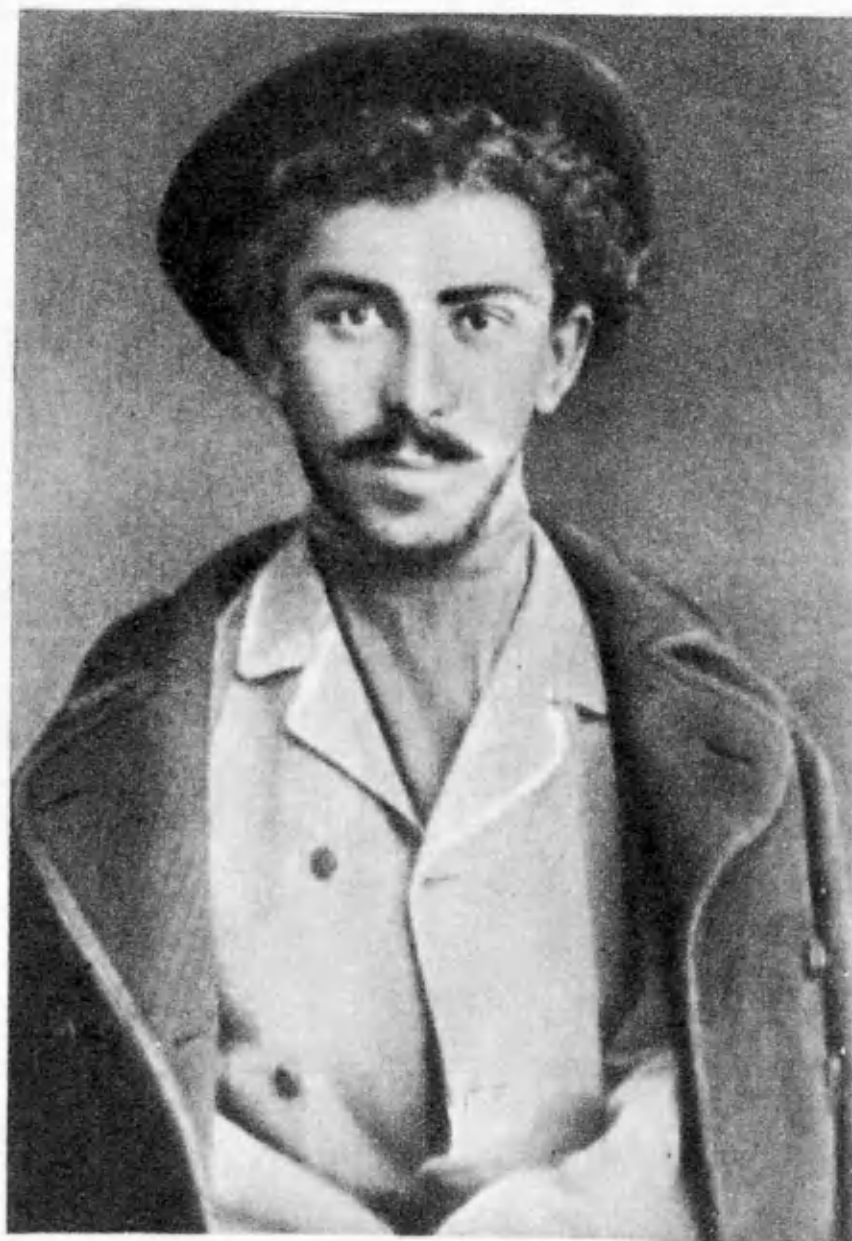


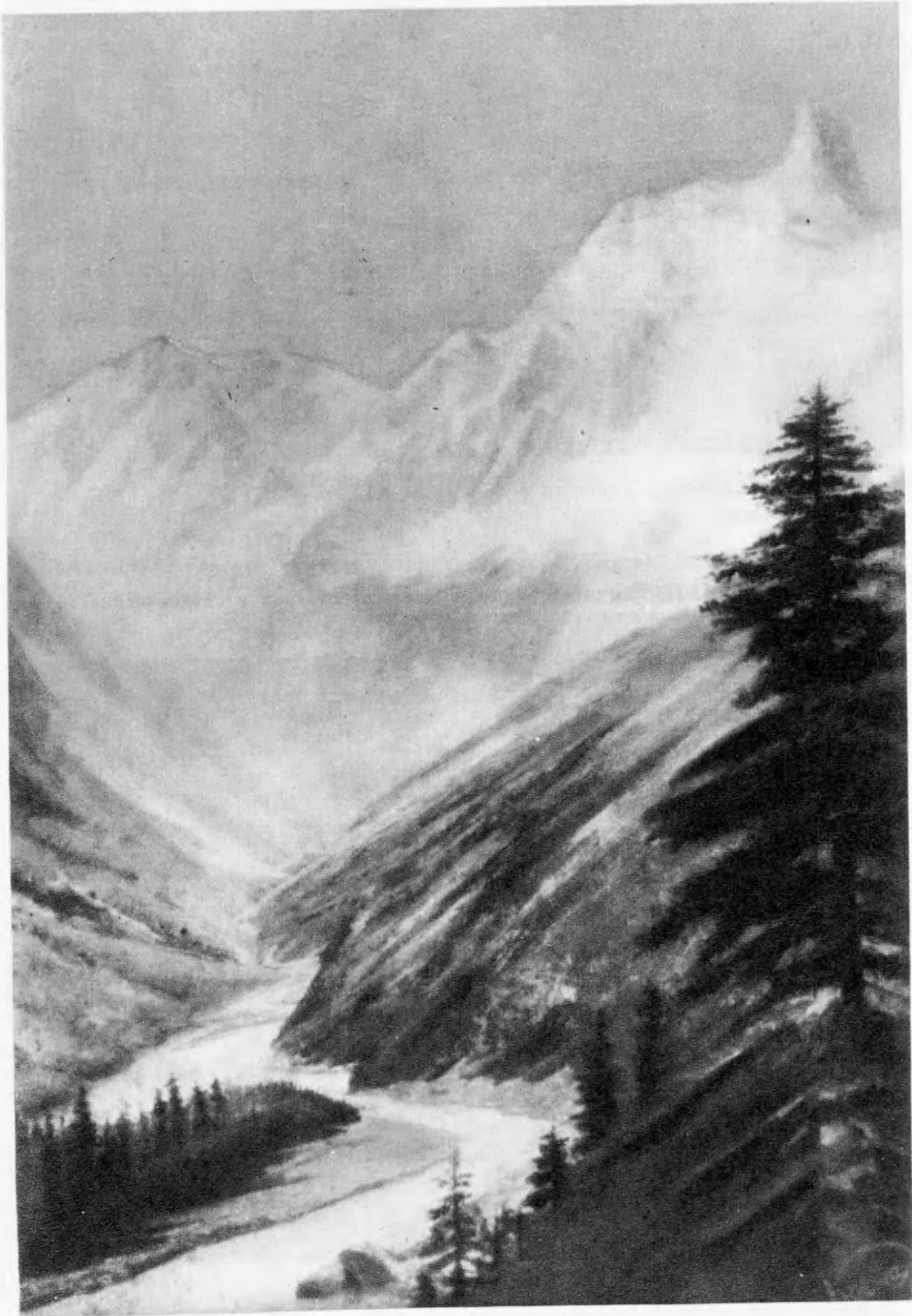
Петербургская Академия художеств в 80-е годы XIX века.

Художник-педагог П. П. Чистяков, учитель К. Хетагурова в Академии художеств.



Коста Хетагуров в студенческие годы (1882).







▲ «За водой». С картины К. Хетагурова.

А. А. Цаликова. С портрета К. Хетагурова. ▲



◀ Ущелье Аман-ауз (Теберда).
С картины К. Хетагурова,

Коста Хетагуров в первой ссылке. 1893 г. ▶

Коста Хетагуров в горах.



Дом во Владикавказе, в котором жил Коста Хетагуров.



СЪВЕРНЫЙ КАВКАЗЪ.

Воскресенье, 1-го августа.

СТАВРОПОЛЬ-КАВКАЗСКІЙ.

Отдѣльные номера въ розничной продажѣ и въ конторѣ редакціи по 7 коп.

РЕДАКЦИОННОЕ УПРАВЛЕНІЕ
СЪВЕРНОГО КАВКАЗА
ВЪ СТАВРОПОЛЕ-КАВКАЗСКОМЪ
УПРАВЛЕНІИ ГОРОДСКАГО
САМОУПРАВЛЕНІЯ
СЪВЕРНОГО КАВКАЗА
СЪВЕРНОГО КАВКАЗА
СЪВЕРНОГО КАВКАЗА

ЦѢНА ЗА ПОДПИСКУ
ВЪ СТАВРОПОЛЕ-КАВКАЗСКОМЪ
УПРАВЛЕНІИ ГОРОДСКАГО
САМОУПРАВЛЕНІЯ
СЪВЕРНОГО КАВКАЗА
СЪВЕРНОГО КАВКАЗА
СЪВЕРНОГО КАВКАЗА

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ

церковной, портретной и декоративной
ЖИВОПИСИ.
К. А. ХЕТАГУРОВЪ.

адресъ в К. Николаевскій проспектъ, д. Мещанинъ (Старая Гавань), кв. № 2.

СРАВНЕНІЕ ТАРИФОВЪ.

Истражаемая капиталъ и процента, съ возвратомъ процента въ случаѣ смерти застрахованнаго.

ВЪ РОССІЙСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ.

ЕДИНСТВЕННОМЪ въ Россіи КЛАДОВИЩЪ ОБЩЕСТВѢ.
Застрахованіе Капитала въ Давидовѣ, учрежд. въ 1835 году.
Руб. 5887

«Вѣра»	руб. 7432	дарило, съ возвратомъ процента въ руб. 1835
«Звѣзда»	7250	дарило, съ возвратомъ процента въ руб. 1750
«Родина»	7180	дарило, съ возвратомъ процента въ руб. 1650

1) Въ другихъ Обществахъ при заключеніи договора, или въ разрывъ договора 3 года, въ пользу ихъ Обществъ, или страхователя, или наследниковъ, назначается пеня, то есть процентъ за неисполненіе обязательствъ.

2) Если же при заключеніи договора 3 года, при Обществѣ назначается пеня, то при разрывѣ договора, или при наступленіи срока, пеня назначается въ пользу 5 летъ, то есть 5 процентовъ годовыхъ, или 5 процентовъ годовыхъ, или 5 процентовъ годовыхъ, или 5 процентовъ годовыхъ.

Директоръ Русскаго Общества К. А. Хетагуровъ.
въ Ставрополѣ (Кавказъ), Архиповскій ул., д. Сушицынъ.

Важно! «Ставропольское общество взаимной ответственности» имѣетъ честь объявить, что 5-го августа 1917 года, въ 7 часовъ вечера, въ залахъ Общества имѣетъ место общее собраніе, въ которомъ для разсмотрѣнія: а) вѣщаго баланса и резолюціи по нему; б) вѣщаго баланса и резолюціи по нему; в) вѣщаго баланса и резолюціи по нему; г) вѣщаго баланса и резолюціи по нему.

Н. упрямый...
Чт. риторика и этика...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Н. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

рос. упрямый...
Чт. философия и логика...
Лекція о логикѣ мысли и тайны логики.

Городская хроника

Ставропольскій уѣздъ.

25-го июля...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...

Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...

Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...

Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...

Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...

Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...

Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...

Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...

Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...

Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...
Въ Ставрополѣ...

Памяти П. И. Чайковского.

Разбита страшной поручицей мира,
Повержено жертво жемчуж, разлучены ^{вышней} ~~храмь,~~
На ватки улететь "соловушка" отъ мира,
Въ ойраку далеку къ далекому небосаму

И стало такъ жено на сердце, безъградно,
И шракъ, фолбогивий шракъ случившая надъ ^{душею,} -
Ударъ безвременный, и какъ оны безпоизадно,
Какъ неожиданно направлень динь судьбой!

Оузнаны ли теперь великую пошарю,
Торжкая слава найдется-ль у кого?
Иногда шить въ будущности народа и пошарю,
Когда оны гонимъ откажутся своего;

Когда печалью слою оны шубоко сознаетъ
И слышитъ слова поэта оны пойметъ
"Ищешь вьрадо аломана, - аккурдь еще рѣдаеъ
"Ке говорите много, оны умеръ, - оны живъ вѣдъ!"



КОСТА.

ИРОН ФАНДЫР.

ЗЕРДЕИ САБЕСТАЕ.
ЗАРДЖУТЛЕ, КАДЖУТЛЕ
ИМЕ
ЛЕМБИСЛЕНДТЛЕ.

ВЛАДИКАВКАЗЪ.
Типо-Литография З. И. Шувакова.
1899.

Чичиковъ.

Гоголевскій Чичиковъ, оказывается, до сихъ поръ еще благополучно здравствуетъ. Въ настоящее время онъ живетъ въ Екатеринодарѣ и очень популяренъ, какъ общественный дѣятель и ученый. Дѣла его теперь очень поправилась. Онъ теперь не скупаетъ мертвыя души, а уже лѣтъ десять занимается новымъ весьма прибыльнымъ дѣломъ, имъ же самимъ изобрѣтеннымъ и получившимъ привилегію. А дѣло вотъ какое. Въ доброе старое время самыя хорошія земли въ Кубанской и Терской областяхъ въ изобиліи раздавались офицерамъ, чиновникамъ и даже священникамъ, кому за военныя заслуги, кому

▲ Титульный лист сборника стихотворений Коста Хетагурова 1895 г.

Титульный лист первого издания сборника стихотворений Коста Хетагурова «Ирон фандыр» («Осетинская лира»). 1899 г. ▲

Начало фельетона Коста Хетагурова «Чичиковъ» (газета «Северный Кавказъ» № 50, 1901 г.) ▲

Коста Хетагуров



ЛАСТОЧКА

Стихи для детей

ДЗАУДЖИКАУ — 1952

Обложка одного из современных изданий стихотворений Коста Хетагурова для детей.



Коста-просветитель. Скульптура М. Томаева.



Коста Хетагуров в последние годы жизни.



▲
Музей осетинской литературы имени Коста Хетагурова в г. Орджоникидзе. У башни музея находится могила поэта.

▶
Могила Коста Хетагурова в г. Орджоникидзе.



Памятник Коста Хетагурову в г. Орджоникидзе. Скульптура С. Тавасиева.



Константин Леванович Хетагуров (1859—1906).

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Тотырбек Джатиев. КЕМ ТЫ БУДЕШЬ, ЛАППУ?	
<i>Перевод автора</i>	5

Коста Хетагуров. СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ

Надежда. <i>Перевод Б. Иркина</i>	145
Спой! <i>Перевод А. Гулуева</i>	147
Пропади!.. <i>Перевод П. Панченко</i>	148
Желание. <i>Перевод Б. Иркина</i>	151
Песня бедняка. <i>Перевод Л. Озерова</i>	152
А-лол-лай!.. <i>Перевод С. Олендера</i>	153
Горе. <i>Перевод Б. Иркина</i>	155
Взгляни!.. <i>Перевод П. Панченко</i>	156
Тревога. <i>Перевод Б. Иркина</i>	157
Мать. <i>Перевод Б. Иркина</i>	158
Кубады. <i>Перевод П. Панченко</i>	162
Редька и мед. <i>Перевод А. Шпирга</i>	166
Упрек. <i>Перевод С. Олендера</i>	168
Походная песня. <i>Перевод С. Олендера</i>	170
Перед памятником	171
На смерть М. З. Кипнани	172
Завещание	173
Джук-тур	175
«Да, встретились напрасно мы с тобою...»	176
Памяти П. И. Чайковского	177
Памяти А. Н. Островского	178
«Я не пророк...»	179
Утес	180

Памяти А. С. Грибоедова	182
«Не верь, что я забыл родные наши горы...»	183
«Волшебной сказкою, свободным измышленьем...»	184
Весна	185
В решительную минуту	186
Ночлег	188
Друзьям-приятелям и всем, кто надоедает мне слезо- точивыми советами	190
Памяти М. Ю. Лермонтова	193
«Я смерти не боюсь...»	194
Зигзаги мысли в бессонницу	195
Прости	196
Фатима. <i>Кавказская повесть</i>	198
Хетаг. <i>Перевод П. Панченко и А. Шпирта</i>	241

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Тогырбек Джатиев

КЕМ ТЫ БУДЕШЬ, ЛАППУ?

Коста Леванович Хетагуров

**СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ**

ИБ № 4414

Ответственный редактор

И. М. Пугачева

Художественный редактор

С. И. Нижняя

Технический редактор

В. К. Егорова

Корректоры

Л. М. Короткина и М. Ю. Мерперг

Сдано в набор 10.03.80. Подписано к печати 04.09.80. А09723. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типограф. № 1. Шрифт обыкновенный и академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,81. Уч.-изд. л. 11,31+8 вкл.—12,25. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1175. Цена 55 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Суэцевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм
«Целлофот»

Джатиев Т.

Д40 **Кем ты будешь, лапшу?: Повесть о Коста Хетагурове/ Пер. с осетин. автора. Хетагуров К. Стихотворения, поэмы/ Пер. с осетин.; Худож. Евг. Коган.— М.: Дет. лит., 1980.— 254 с., 16 л. ил.**

В пер.: 55 к.

Биографическая повесть об основоположнике осетинской литературы К. Хетагурове (1859—1906). Во второй части книги — стихи поэта.

Д $\frac{70803-478}{M101(03)80}$ **407—80**

С (Осет) 2

55 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»